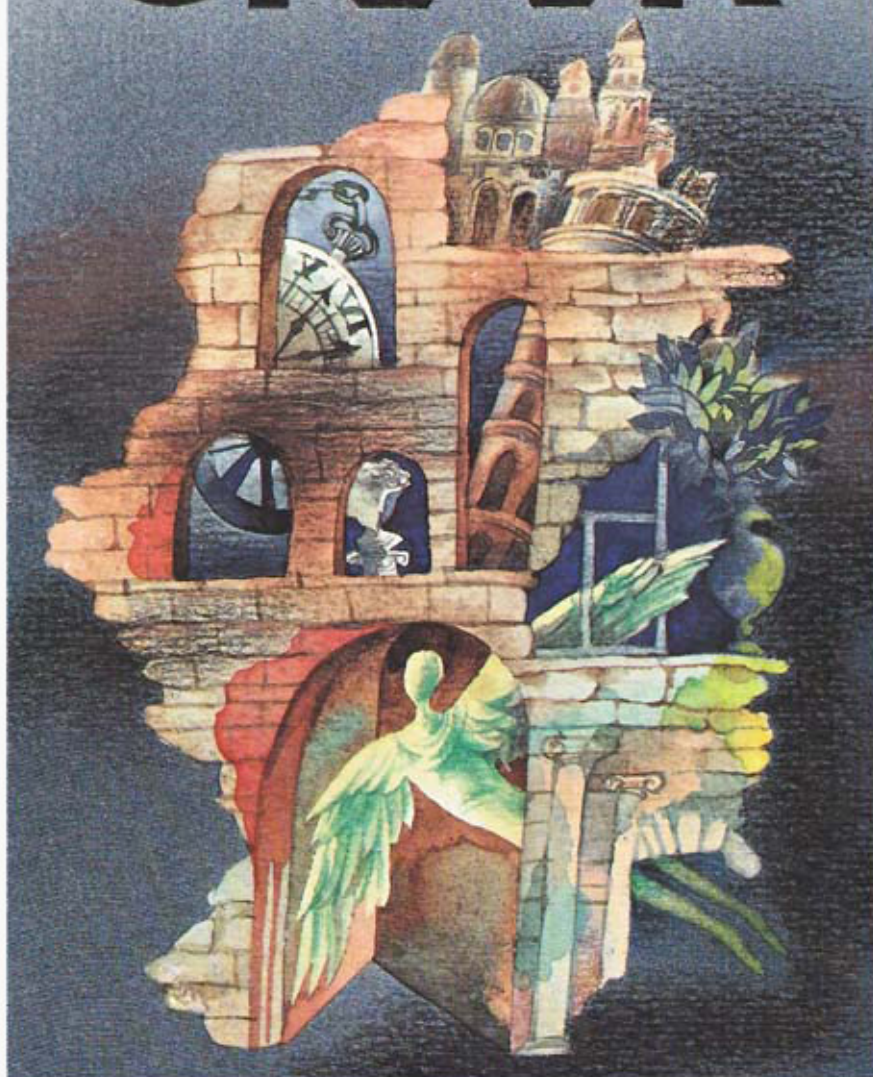


ЕФРЕМ БАУХ

ОКЛИК



Эфраим Баух Оклик

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4949866
Оклик (роман в трех книгах):
ISBN 965-339-005-8*

Аннотация

Роман крупнейшего современного израильского писателя Эфраима(Ефрема) Бауха «Оклик» написан в начале 80-х. Но книга не потеряла свою актуальность и в наше время. Более того, спустя время, болевые точки романа еще более обнажились. Мастерски выписанный сюжет, узнаваемые персонажи и прекрасный русский язык сразу же сделали роман бестселлером в Израиле. А экземпляры, случайно попавшие в тогда еще СССР, уходили в самиздат. Роман выдержал несколько изданий на иврите в авторском переводе.

Содержание

Оклик	6
Вступление в книгу	6
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10
6	12
7	14
Отступление в зиму сорок восьмого	18
1	18
2	20
3	25
4	29
5	30
6	34
7	42
Отступление в лето семьдесят седьмого	48
1	48
2	52
3	54
4	57
5	61
6	62
7	64
Книга первая Птолемаис	67
Глава первая	67
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Ефрем Баух

Оклик (роман в трех книгах)

Efrem Bauch. Call

First Russian edition published in 1991
by "Moria" Publishers, Box 3464, Bat-Yam,
Israel

Copyright © Efrem Bauch
Copyright © Publishers "Moria"
All rights reserved

No part of this publication may be reproduced
in any form or by any means, without permission



Оклик

*Ах, какая драма
с сыном Авраама...
(из популярной скифской частушки)*

Вступление в книгу

1

Еще с детства, в редкие мгновения жизни, возникало ощущение, что кто-то меня окликнул. Чаще всего это случалось в людном месте, и я оглядывался, и я искал того, кто меня окликнул. Но все торопились по своим делам, отчужденные и замкнутые в себе.

В эти мгновения мир, как никогда, казался мне равнодушным до крайности и в то же время с жадным любопытством подглядывающим за мной. Обычно после оклика я некоторое время жил в ожидании его повторения, ощущая странную приподнятость над суетой. Я никому об этом не рассказывал, и вовсе не из боязни, что меня примут за сумасшедшего, а из тайного чувства, что вместе с окликом мне дали намек: ты должен хранить эту тайну, и уже одним этим ты выделен среди окружающих.

Иногда оклик приходил вздохом во сне всей памятью прошедшей жизни.

Часто это улавливалось даже не как оклик, а как бы некий толчок изнутри. Такой толчок, вероятно, испытывает земля в миг, когда из нее пробивается росток, до этого лежавший без признаков жизни и набравший силы для этого толчка, толчка, дающего начало новому растению, существу, образу или мысли.

Вот уже седьмой год, приехав из Скифии, я живу на израильской земле, в десяти минутах ходьбы от Средиземного моря, в городе Бат-Ям, что в переводе может означать город Сирен, тех самых, которые громким и сладостным своим пением завлекали людей на гибель, и люди на корабле Одиссея спаслись лишь тем, что залепили уши воском. Но они были эллины, а я иудей, и, вероятно, слух мой и дух мой не влекутся водоворотом гибельно-сладостного пения, которое ниже их чувствительного порога, но с не менее гибельно-сладостным замиранием сердца улавливают слабое дуновение, толчок, оклик...

Чего? Кого?

Растения? Ребенка? Ангела?..

Неожидан этот оклик протягивающего мне ветви куста. Он притаился за железными прутьями невысокой бетонной ограды дома в тени одинокого кипариса, возносящегося надо мной в кривом переулке, по которому я иду к морю. И кипарис подобен мгновенно на глазах расширяющемуся снизу взрыву зелени, который на гребне своего расширения вдруг сужается, чтобы концентрированным клинообразным копьем проколоть небо – и это постоянное движение, как бы не прерываясь, живет в его форме, в его напряженной и полной восточной тайны неподвижности, и мгновенно в нем одном, как сжатая пружина, разворачиваются горбатые улочки Ялты со всеми кипарисами, запахами древесины, миндаля, моря, жарким и в то же время дремлющим, как молодость моя в те мгновения, солнцем юга, и ялтинская аллея кипарисов, ни на миг не прерываясь, продолжается кипарисовой аллеей в городе Сирен, по которой я спускаюсь к морю, и зеленые копыя, подобно клинописным знакам по глазированной-синему камню неба, через всю мою жизнь несут тяжесть прасемитской тайны.

И вот уже скрытая связь обнаруживается с каждым кустом, с каждым островком зелени среди мертвого бетона строений. Меня не интересует, более того, мне бы мешало знание имени растения, куста, дерева, мгновенно вводящее в каталогизированный мертвый мир названий. Мне куст становится близким и живым по форме, облику, воспоминанию, беспомощности и свежести, одиночеству и прикрепленности к земле. И даже имена вдруг обнаруживают свои пахнущие винным духом корни – и в имени "Крым" твердые звуки складываются в слово "крама", винохранилище. И холодом обдают подземелья, хранящие темный божественный напиток, cedимый с виноградника Бога, который, конечно же, "керем эль", Кармель, и протягивается через время моей жизни долгое сцепление корней, часть живой пуповины через тысячелетия, которая, оказывается, никогда не обрывалась и держит и меня на своей бесконечной привязи, как альпиниста держит веревка, храня его жизнь, позволяя ему висеть над безднами, подыматься на крутизну и самому удивляться собственной цепкости и небоязни. И катится этот неумирающий вал зелени, непонятно в завтра ли, вспять ли, катится через тысячелетия этот вал трав, деревьев, кустов к тому одинокому кусту, в котором запутался рогами овец, увиденный уже лишенным земного понимания вещей Авраамом в миг, когда он занес нож над сыном Ицхаком.

И этот куст вместе с овном являются неотъемлемой частью оклика, которым Ангел дважды окликает Авраама.

2

Неверный свет уходящего времени, предзакатного солнца, игрушечно посверкивающий автобус, два дерева на повороте дороги, недвижно замершая в каком-то странном порыве к дороге девушка, – да ведь это все уже было: в ином месте, в ином времени?

Такой феномен памяти, считает Анри Бергсон, случается у человека в моменты понижения энергии жизни. Но какой в душе ощущается прилив печали и желания поднять из забвения целые материи собственной жизни, окольцованные этим повторившимся воспоминанием, воспользоваться им как инструментом археолога, чтобы поднять пласты ушедших в прошлое лет.

И отчетливо встает в памяти полдень: я еду в кабине грузовика в сторону прячущегося среди плавных холмов западной Молдовы городка Ниспорены, и мимо меня, медленно, как бы проворачиваясь на оси, движется огромное, плоское, как стол, зеленое поле, и редкие на нем купы мощных деревьев, словно бы таящих в своих ветвях некую тайну моего существа, тянут ко мне пригоршни листьев, приближаются, а я миную их, удаляюсь, и они, протягивающие мне в дар собственную мою тайну, остаются ни с чем, но неизвестно, кто больше потерял.

Такое чувство охватывает меня на крымских высотах, в час заката, когда очертание Эклизи-Буруна, вершины горы Чатыр-Даг, пронизывает меня, как часть моего существа, и я пугаюсь этого, уползаю в палатку, замираю, закрыв глаза.

Нередко я ощущаю всю свою жизнь, как цепь таких потерь и забвений.

Но, быть может, это те клочки моего существования, те глубинные знаки, что подобны зарубкам на деревьях сквозь время, по которым я сегодня могу вернуться к истокам собственной жизни?

Неверный свет ушедшего времени, печальный и дорогой свет – остается в старых домах, развалинах, деревьях детства, кажущихся уменьшившимися, усохшими, как и люди к старости – мои мать, бабка, дед, вызывающие желание защитить их, чувство сердечной боли и милосердия, которые, по сути, жалость к самому себе, такому беспомощному перед водопадным напором времени. Но время это и само беспомощно перед светом памяти, пусть

светом слабым, пробивающимся сквозь свинцовые спирали тумана, но такой прочной нитью выводящим через половину столетия к сегодняшним дням.

Таких затхло-долгих, слежалых свинцовых туманов нет на этой земле, прожигающей солнцем до костей, несущей тебя в потоках света и тысячелетней памяти, включающей в почти вечный контекст невероятной сжатости, как вглубь, так и вширь. Как давление и тысячелетия превращают осевшие в море пески в мрамор, так спрессованность человеческой памяти на этой узкой полосе земли целиком превратила эту память в миф, и ты, желая того или не желая, живешь в этом мифе, как мотылек в прозрачном тысячелетнем янтаре.

Вероятно, в знак протеста, ощущая свою "вечность", как увечность, ты стараешься жить суетой, которой всегда было с избытком "во человецех", и особенно на этой земле, где родились вечные слова: "Все суета сует и томление духа". На этой земле родилась словно бы навеянная и подслушанная Свыше идея, дуновение, прозрение: этот мир написан до того, как сотворен, и создавался по огненному тексту Торы – черным пламенем букв по белому пламени листа. Такой чистейшей квинтэссенции печали, родившейся на этой земле, которой насыщены псалмы Давида, нет в мире. Человеку, воспринимающему эти скрытые, невероятной мощи, волны веры, сомнения, печали и восторга, трудно скрывать себя среди обычного люда. Его поведение кажется чудачеством, если не безумием. Изменяется образ его жизни, ее ценности, ее наполненность, порядок предпочтений.

И тут, как ядро, гибельный снаряд, дурная бесконечность, безудержная свобода, равная добровольному над собой насилию, врывается в жизнь твою прошибающее страхом и той запредельностью, которую ощущаешь лишь после того, что все пронеслось над тобой, и удивляешься тому, как остался жив, – мгновение, когда Авраам занес нож над сыном своим Ицхаком.

3

Я не оговорился вначале: возникает именно ощущение оклика. Словно бы кто-то следит за тобой долго, пристально и печально. И ты вздрагиваешь, ощутив это прикосновение ниоткуда.

Пение небесных сфер слышится изошедшей жаждой душе Лермонтова в несуществующий миг между тем, как пуля пробила сердце, и тем, как стеклянеющий взгляд ловит небо, ястребом падающее с высот...

По небу полуночи Ангел летел
и тихую песню он пел...

Эти слова словно бы ненароком проливаются в замызанном послевоенном классе, вплотную обложенном сосущими душу снегами сорок восьмого года.

А весна обостряет голод, и тянет меня, неясно почему, к плывущим по реке льдинам, к сваям летящего через Днестр моста, и кружится голова от чистоты вечеряющего неба и блоковских строк, идущих горлом...

Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету,
И Ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну...

У каждого ли времени, у каждой ли души есть Ангел?.. Ангел полуночи? Ангел полудня?

Мой ли Ангел зеленой звезды? И он отмечает меня среди людских толп, суесящихся у приводных ремней Времени. И следит за мной долго, пристально и печально. Быть может, потому я с особой, изматывающей душу остротой ощущаю, как эта масса людей вокруг изображает отсутствие действия, с удовольствием и уверенностью получая за это оплату. Их – подавляющее большинство, и далеко не молчаливое.

Но кто же облечен истинным действием в узкой горловине моей жизни, пробивающейся сквозь время?

И я оглядываюсь назад, на вереницу дней, смыкающихся за моей спиной, как заверчивающиеся воды за кормой корабля, и я вижу существа и предметы, рвущиеся в свет этой узкой горловины моей жизни, которую я пробиваю сквозь более чем пять десятилетий, – лица, лица, знакомые, полузабытые, – их множество, их больше, чем нужно, и все они хотят попасть на сцену, пусть хотя бы в качестве статистов или даже антуража, если нет возможности сыграть роль, – вот через все годы несет, как легкую щепку, столик, на нем раскрытый пожелтевший фолиант Торы, и я, младенец, сижу на этих страницах, придерживаемый рукой деда, быть может, уверенного, что этот сооруженный им необычный ковчег спасет внуку жизнь; вот плывет буфет, изъеденный древоточцами, украшенный резными львами и виноградными лозами, скрепивший своей неподвижностью рождение и смерть многих поколений моей семьи; вот – замок Эльсинор, нарисованный ученической рукой на куске картона, несущем в себе всю историю постановки школьного "Гамлета"; вот – багровое от напряжения лицо одноклассника Феликса Дворникова, свистящего и дующего изо всех сил под одобрение девиц за сценой, прыскающих в ладони: изображает сибирскую вьюгу, погребавшую декабристов в спектакле по Некрасову...

Но – главное?... Что оно, – главное?

Там, где – боль, разрыв, кризис, безнадежность?

И я силюсь, как роженица, силюсь вспомнить, и оно нарождается болью памяти – то, что было самотекущей, сбивающей с ног реальностью, горьким семенем, оплодотворяющим память горечью...

Но как болезненные роды приводят на свет существо, которое становится неотъемлемой частью жизни, так и этот горький опыт, рассечение живого нерва – дает истинный опыт существования. Нелюбимые дети становятся главными свидетелями реальности судьбы.

4

Два зыбких, призрачных феномена проступают сквозь годы странным постоянством и залогом души, замершей в Шеллинговом абсолютно положительном созерцании Вечности, и Шеллингова философия искусства вдруг открывается мне частным случаем, обсуждаемым на кабалистических собраниях "идрах" – мудрецов в книге "Зоар" – "Сияние".

Два зыбких, призрачных...

Фонтан и колокольный звон.

Перезвон колоколов я, вероятно, слышал, и не раз, до этого. Но тот единственный колокольный звон, развернувшийся в считанные минуты детства, словно бы приоткрыл мне край приберегаемых для меня пространств огромного потаенного мира, ткущегося густой звуковой медью, призрачного мира, в котором обитали Ангелы, чье тихое, вызывающее слезы пение можно было услышать лишь несколько мгновений после последнего тяжелого удара меди.

Я сидел на берегу в половодье, следя, как набухшие, выгнувшиеся в обрывистых берегах воды темнеют вместе с вечеряющим небом. И вдруг тем случайным совпадением, кото-

рое на всю жизнь западает в душу, вместе с тяжелым растекающимся ударом меди оторвалась от берега огромная оплывина суглинка и беззвучно погрузилась в пучину. А мир звуков только начинал разворачиваться голосами, подголосками, канителью, строя в пространстве невидимые, но прочные опоры, те литургические высоты, которые способны пронести и сохранить душу через все падения и беды.

Я еще не понимал, в чем дело, но слезы сами по себе, текли щедрым залогом за будущую боль и страдания.

Лет через пять после войны, когда мир этот вырвали с корнем, я увидел колокола среди сорняков и строительного хлама на заброшенной площадке около стадиона. Залепленные глиной и сгустками цемента, они хранили великолепно-тяжелую текучесть литых своих форм, и сквозь безобразные горы мусора взгляд открывал плавкую плавность отзвучавшей меди, наслаждаясь абсолютно положительным созерцанием Вечности. А рядом, в счастливом беспамятстве, оглашенно орали на трибунах полчища любителей футбола.

С тех пор я присовокупил эти колокола к тем редким, но главным вещам в моей жизни, которые я знал наизусть и которые принадлежали миру, неизменно наполненному ровным, глубоким и чистым светом, миру, не сливающемуся с одуряющей угарной суетой каждодневного существования, миру, который отбрасывал световой ореол в лучшие мгновения жизни, миру, который служил залогом и защитой от непрерывного страха и угроз в обыкновенном течении дней. Он ощущался, этот мир, широким поверх всего течением, которое держало меня только силой светового потока, как фонтан держит на вершине струи попавшую туда горошину.

Но все это могло рухнуть в любой момент, и донос, вызов в органы сыска и фиска, угроза высылки или ареста подстерегали этот мир, подобно грязному, вечно пьяному сантехнику, перекрывающему фонтан расхлябанным гаечным ключом.

Небесные высоты исходят пением. Короткий, как хлыст, выстрел – и обрывается, вмиг сворачивается невидимая и, казалось, необъятная певческая ткань. Малый комок падает на землю, тело птицы...

Но кто он, кто, мой праотец Авраам в то мгновение, когда заносит нож над сыном своим Ицхаком?

5

Празднично светило солнце конца июня, небеса были безмятежно сини, тишина, как в глубоком сне, и шелковистая доверчивость травы под ладонью тяжелили веки сладким покоем, – я, семилетний мальчик, сидел на траве, рядом с тюками и пакетами, которые сторожили мама и бабка, в станционном тупике с ржаво поскрипывающими вагонными платформами, на которые нас должны были погрузить. Окружающая безмятежность дышала угрозой, гибелью, тишина и небо могли вмиг обернуться спиралевидным воем пикирующего вслед за сброшенной им бомбой самолета.

Гибельная праздничность летнего солнца на всю жизнь западала в душу, не впрок заучивалась наизусть.

Из-за вагона появлялся отец с почерневшим лицом и весело сверкающими глазами. "Хорошие новости, – говорил отец, напропалую веря в то, что услышал на перроне, ибо иного разум еще просто не воспринимал, – кто-то сам слышал по радио, что через сутки, ну, быть может, дня два, война закончится"...

Это было в городе Тирасполе, в июне сорок первого.

Спустя одиннадцать лет, в пятьдесят втором, на окраине того же города, по дороге на Одессу, мы с мамой стоим под безмятежно синим небом, в тишине и пыли, поднимаемой колесами проносящихся машин и стоящей комом в горле. Месяц назад, после окончания

средней школы и получения медали, я подал документы в Одесский политехнический, и вот, сегодня утром получил письмо об отчислении по не вполне ясным причинам, а до занятий осталось два дня, пыльная листва деревьев на обочине нависает над нами, сдавливает грудь ядовитой зеленью. Мы пытаемся остановить попутную до Одессы. Наконец, отъезжаем на грузовике, поверх подсолнухов и кукурузы, испуганные и притихшие в заливающей с избытком пространство, гибельной, такой знакомой праздничности летнего солнца. А тот, который всегда так старался принести хорошие новости, уже девять лет лежит в земле.

Спустя еще тридцать лет, в таком же солнечном июне с безмятежно синими небесами, апельсиновыми деревьями, словно бы сошедшими с иллюстраций детских сказок, райски благоухающими листвой и круглящимися оранжевым золотом плодов среди казенных зданий израильского радиовещания в Тель-Авиве, я стою у открытого окна одного из этих зданий, оцепенело уставившись в табличку на стене, ощущая насколько не к месту и не ко времени эта надпись – "улица Леонардо да Винчи", хотя и связанная сладостными, как золотые сны человечества, узами с синим покоем и оранжевой апельсиново-пряной дремотой среди-земных пространств. Невидимые, но гулом сотрясающие эти пространства, на север летят самолеты. Уже третий день там, на севере, идет Ливанская война, и там, в самом пекле, мой сын, и ощущение безмятежного июня, в каждый миг оборачивающегося угрозой, свистом снаряда, взрывом бомбы, такое новое в молодой его жизни, приходит ко мне через сорок лет странствий по жизненным лабиринтам повторным опытом семилетнего ребенка.

Гибельная праздничность летнего солнца западает в душу сына на всю его разворачивающуюся только жизнь, не впрок заучиваясь наизусть главнейшим экзаменом на аттестат зрелости.

Из-за дверей радиостудии появляется мой товарищ, радиокорреспондент, с почерневшим лицом и веселыми глазами, бодро проборматывая: "Ноу ньюс – гуд ньюс", что в изучаемой мною вот уже скоро полстолетия науке о хороших новостях означает нечто новое: "Лучшие новости, когда нет новостей". На радиостудию прямо с переднего края передают приветы отцам, матерям, женам и детям, которые здесь, в тылу, только и дышат через кислородные трубки радио и теле-сообщений.

Спустя еще три года я пишу эти строки, и память, казалось бы, забытая на самом младенческом дне моей жизни, залитая невероятными толщами вод забвения, вдруг подымается, как это происходит с движением земной коры, выступает клочками из вод, высыхает и заселяется вновь. И шелковистую доверчивость травы у ржавых вагонов сорок первого вновь ощущают мои ладони под сенью апельсиновых деревьев восемьдесят второго, и солнце, просачиваясь неотменимой праздничностью сквозь путаницу жизненных лабиринтов, освещает то тут, то там – лицо, предмет, сцену, мысль, – и я внезапно обнаруживаю, что это вовсе и не солнце, а отсвет моей души, это ее способность вводить боль невыносимых мгновений в общий контекст мифа, называемого прошедшей жизнью, облегчая ее, эту боль, уже в сами те мгновения и закладывая их в память трагическим оборотом, способным в единый миг вернуть все это прошлое.

Мы говорим друг другу последние слова прощания, и вот она уходит за угол, и еще долго слышен замирающий через жизнь стук ее каблучков, – вот он, образ разрыва, ставший вместе с солнцем, запахом сирени (была весна) и молодостью частью личного моего мифа.

Миф – всегда хорошая новость.

В самой материи мифа заложено чувство печали и зависти к прошедшему, более юному, связанному с детскими золотыми снами человечества, чувство, освещающее даже самое жестокое отсветами рая и окликающими Ангелов. Свет мифа всегда солнечен, освещает ли он захлавленную развалину, в которой мы, мальчишки, играем после войны, или рынок, по которому мы бродим голодные, вдыхая запах сыров и колбас.

И выходит, что трава на станционных тупиках войны, деревья на зеленом поле у Ниспорен и в тель-авивском дворе, протягивая мне ветви, и вправду хотят уберечь хотя бы часть истинной моей сущности, беря на себя, пусть малую, толику тревоги и боли, делающей в глазах моих свет солнца гибельным, тот свет, который, по сути, подобен редкому, как крупницы, золотому осадку моей жизни, тому абсолютно положительному созерцанию Вечности, проступающему сквозь всю жестокость ее и боль.

Этот солнечный жар достигает накала, как в пекле, уже в десятом часу утра над Мертвым морем, у Эйн-Фешхи, где мы бродим по развалинам Хирбет-Кумрана июльским днем восьмидесяти третьего, вглядываясь в пещеры на крутых склонах долины – вادي Кумрана: в них более двух тысяч лет часть еврейской истории, свернутая рукописями и упрятанная в глиняные сосуды, пролежала нетронутой под потоком времени.

Не подобно ли прошлое каждого человека дымящему праху, упрятанному в сосуд отошедших лет?

И, откупоренное ударом Авраамова ножа, выходит как джин из кувшина?

Но подчиняется ли этот джин тебе? Или властвует над тобой?

"На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека"...

Был ли тот день, когда он начал подниматься на гору Мория, солнечным?

6

Огонь бежит, перебрасываясь со строки на строку, как по запальному шнуру. Бежишь за ним с одним желанием – пресечь огонь, прервать повествование, предотвратить взрыв. Скачешь вниз по ступеням строк до края страницы, как до пропасти, прыгаешь вверх, чтобы снова скакать вниз по строкам, и снова, и снова...

В какой-то миг начинаешь сомневаться: хочешь ли ты вообще догнать и пресечь огонь?

Что случится в конце – взрыв или освобождение?

Данте бежит за быстро идущим Вергилием, боясь потерять его из виду. А вокруг восстает прошлое, умоляюще простирая к Данте, к тебе, живому, руки из адских болот и райских эмпирей, требуя к себе хотя бы каплю внимания. И душа живая разрывается между прошлым, в котором она целиком, и будущим, уже теряющимся вдали в вечной тоге Вергилия...

Прошлое из всех сил ищет возможности одолеть забвение, не исчезнуть в скорости и уплотненности событий, отбрасываемых строками Торы, вот уже поглотившими более, чем пять с половиной тысяч лет, прошлое старается уместиться в сжатом пространстве – тяжестью столетий в нескольких строках, – выбирая слова, емкость которых подобна тем глиняным сосудам, хранившим свитки времени.

Жертвоприношение Авраамом сына Ицхака – всего несколькими строками проносится мимо, как самое главное в жизни, проскальзывающее между пальцев.

Но настает час – и собственной судьбой искушаешь скрытую в этих строках истину.

Несколько слов поглощают всю целиком твою жизнь.

Авраам с Ицхаком поднимаются на гору Мория...

Которое тысячелетие с ужасом следят за этим восхождением в верхних и нижних мирах – Ангелы и праведники, насыщенные мудростью святых книг. И те, и другие подобны ребенку, который знает, что Ицхак останется жив; они дрожат от страха, когда заносится нож. Страх сдавливает горло: праведники немеют, не в силах открыть рта, и тогда наступает такая звенящая тишина, что слышны лишь стенания Ангелов, которым Свыше завещано ввести в мир Иакова, сына Ицхака.

И разве поможет наивное желание ребенка, знающего развязку, предостеречь окликом Ицхака?

Ведь вся-то суть в том, что он и сам знает. Он мог бы свободно отказаться быть залогом отцовых счетов с Всевышним, ведь Ицхаку уже было тридцать семь лет, – размышляют мудрецы в кабалистической книге "Зоар", ощущающей Мироздание, как динамическое равновесие верхних и нижних миров, равновесие, поддерживаемое взаимовлиянием, взаимодействием, взаимоотталкиванием пронизывающих это Мироздание сверху донизу духовных течений мудрости и понимания, мужества и милосердия, правосудия и праведности. Малейшее нарушение, подобно волне, проходит снизу вверх, сотрясая все миры, а нарушения, как разрушительные импульсы идут из нашего самого нижнего, в большей степени животного, чем духовного, мира.

И чтобы вырваться из эгоистично сковывающих уз этого нижнего мира, чтобы дух твой стал мерой свободного взаимопроявления мудрости и понимания, мужества и милосердия, правосудия и праведности, ты должен пройти испытание. Испытания бывают разные.

Самое страшное: испытание жизнью сына.

Этим испытанием в единый миг обоим, отцу и сыну, открывается, сотрясая их души до самых корней, вся виртуальная мощь Мироздания, которое, оказывается, с этого мгновения они несут на своих плечах.

Высочайший страх мгновенно переходит в высочайшее ощущение свободы.

И стрелкой весов оказывается оклик Ангела.

А я пропадаю в глухой и теплой июньской ночи восемьдесят второго.

Никакого оклика.

Я сбежал из дома, от настигающего в любом углу голоса диктора из радиоприемника, но он сдавленно преследует меня в ночи, перебрасываясь из окна в окно, из дома в дом тем огнем, бегущим по запальному шнуру, который нельзя пресечь: в районе Бейрута опять ожесточенные бои.

И звезды, увеличиваясь в моих глазах, жгут и испепеляют огненными спиралями, словно бы сошедшими с безумного полотна ван-гоговской ночи. И сверлят мое существо воронкообразно вращающимися пылающими водоворотами тех мощных духовных течений – мудрости и понимания, мужества и милосердия правосудия и праведности, – но что мне до них в эти мгновения.

Мне хочется тоже свернуться, стать чем-то спиралевидным, улиткообразным, как зародыш во чреве матери, ничего не слышать, не видеть, не знать, и губы беззвучно, сами собой, повторяют молитву, которую Некто шептал в такой же ночи, всего в семидесяти километрах от переулков, в которых я шатаюсь в эти мгновения, на Масличной горе – "Пронеси меня чаша сия", – и я знаю, знаю, это вовсе не чаша с горьким напитком страдания, это – чаша Весов – мера всей моей жизни, и не может она миновать меня, ибо судьба взвешивается ежесекундно – и это особенно, до безумия, ощутимо в эти мгновения.

Слабый, но отчетливый голос диктора настигает меня через далеко протягивающийся в ночное пространство парк, замерший и опустелый.

Идут вместе, Авраам с огнем и ножом, Ицхак – с вязанкой дров на плечах. "Отец, отец!" – дважды окликает Ицхак Авраама. На первый оклик Авраам не отвечает, боится открыть рот, чтоб не вырвался крик, взывающий к милосердию. На второй – отзывается с неожиданной силой и болью: "Вот я, сын мой!" Нет, не говорится: "сказал отец", а говорится: "сказал Авраам", ибо не было в нем в этот миг ничего отцовского, он был весь во власти своей борьбы с окружающим миром, своего надрыва, губительно эгоистично сосредоточен на своих связях с Всевышним.

Разве не был и я губительно эгоистично сосредоточен в долгих бессонных ночах там, в северной стране, где прошли от рождения сорок лет моей жизни, принимая решение идти, ехать, лететь в землю обетованную, зная, что там предстоит сыну, который спал в соседней комнате и свет отрочества колыбался над его еще по-младенчески гладким лбом?

Разве Авраам не волен распоряжаться лишь своей жизнью?

Или пожертвовать собой – это еще не наивысшее испытание? Наивысшее, более страшное, пропастное – пожертвовать самым дорогим, тем, что держит тебя в этом мире, пуповиной жизни – сыном.

Все поставлено на чашу весов.

На твои плечи, и только на твои, ложится тяжесть и невыносимость решения: держать ли на плечах существование сокровенного тебе по духу мира человеческого ценой сыновней жизни, или вместе с ним, не дай Бог (не дал, а подослал овна), уйти в небытие, ибо вместе с уходом сына уходит отец, даже если он продолжает жить, дышать, есть и двигаться.

"Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам"...

Дважды окликнул, говорит рабби Хия, чтобы разбудить Авраама в новом его образе, после испытания иного духом и сердцем.

Между этими двумя окликами – вся жизнь Авраама, от первого до последнего, и первый еще весь погружен в суету нижнего мира, и последний – тот, кто обрел цельность страшной ценой и теперь знает истинную цену мира и собственной жизни.

И все же, все же, все же...

7

Каждый вечер в том невыносимо долго длящемся июне я пытаюсь переулками к морю спастись от голоса радио. И в надвигающихся сумерках бледно-сиреневым ацетиленом горят фонари на фоне свинцово-серого моря.

Свинцовый свет огромного распахнутого пространства опрокидывается на берег, сталкиваясь с уже прячущейся в углах стен, под аркадами гостиниц, кафе и ресторанов темнотой, особенно ощутимой у ярко фосфоресцирующих разноцветных реклам и вывесок. В эти тревожные вечерние часы, когда всего в каких-то двухстах пятидесяти километрах севернее по берегу, в полном разгаре – война, набережная забита гуляющей публикой, в ресторанах и кафе полно народа, и толпы гуляющих прохватывают сквозняком токи пряной экзотики и уюта, выносящиеся в пространство из ресторанов и кафе вместе с приглушенно-манящим светом красных и голубых лампочек, отсвечивающим рядами бутылок с яркими этикетками, никелем кофейных аппаратов, стеклом буфетных витрин, вместе с острыми запахами молотого турецкого кофе, рома, ананасов и мороженого.

Имена кафе и ресторанов обстреливают меня горстками-залпами букв, манят, окликают, выплескивая на полуторакилометровую набережную города Сирен, протянувшуюся вдоль Средиземного моря, все мыслимые клише, соединяющие в себе корыстную попытку создать некую приманку из моря, ночи, юга, звезд, устойчивые гнезда романтики и уюта, задеть чувствительные струны сердца, предложить каждому клиенту коктейль, в котором в предельных дозах смешаны тяга к тревожно-романтической неопределенности и жажда забвения. В эти беспокойные дни, когда тревога особенно обостряется, сюда бегут искать забвение, бегут, как в дальние страны, иные пояса жизни, сказки детства – в "Корсо", чье название как бы кольцом охватывает все тайны ночной жизни Рима, в отсвечивающее затаенными чудесами погибшей Финикии название "Виа Марис", в охватывающее мистическим веянием с видением колесницы пророка Иезекииля имя – "Меркава", а там уже зовет аравийскими пустынями "Кобра", тысячью и одной ночью – "Алпадин", забытой одесской юностью – "Босфорус" и "Гамбринус", детскими аквариумами – "Морской дворец" и "Посейдон", а еще дальше – испанский "Кальдерон", французский "Сан-Рено", мексиканское "Акапулько", турецкие "Измир" и "Золотой берег", где посверкивают перламутром мандолин и бриллиантином причесок черноусые музыканты. Люди забиваются в уже совсем незаметные, по-

домашнему зовущие кафе – "У Фани", "Фитиль" с керосиновыми лампами, в "Древности", в "Немного по-иному".

На телевизионных экранах кафе и ресторанов – только видеофильмы: любовные приключения, бокс и каратэ.

Этакое сверхспасительное равнодушие томительной испариной разлито поверх шаркающей подошвами и шуршащей шинами проносящихся автомобилей набережной.

В старом спортивном костюме и выдавших виды кедах, я не привлекаю внимание в толпе, пестро и нарядно одетой, где свои флюиды, водовороты, тайные желания, столкновения и отталкивания, любопытство, скрываемое за равнодушием, притворство выдаваемое за естественность, – все то, что всегда возникает в большом скоплении людей, празднующихся, празднично разодетых, ищущих развлечений. Ощущение потерянности в толпе странно расслабляет и успокаивает, но все мое существо неосознанно тянется за ватагой подростков, мальчиков и девочек, до странности аккуратно и модно одетых, – таким три года назад выглядел мой сын – ватагой, которая гибко изгибаясь, с кошачьей дикостью в глазах, рассекает толпу, вглядываясь пристально вглубь кафе и ресторанов, ватагой, которая полна непритворным презрением к толпе, ко всему роду человеческому, идет как бы вместе, слитно, прорезая слабо сопротивляющийся людской поток излучающим силу течением молодой жизни. И течение это кровно, темно и глубоко связывает их с теми, кто ушел далеко на север, в гибельные лабиринты войны. Они прорезают толпу, как существа иного мира, иной породы, и это ощущают все вокруг. Они не то что бы идут, они словно бы скользят, почти не перебирая ногами, словно бы неподвижны, и несет их сквозь время к самому гибельному для них возрасту единожды раскрываемая мимолетная и дикая сила внутренней легкости, раскованности и красоты, которая внезапно открывается в невероятных событиях, картинах, скульптурах, и, кажется, не толпа зрителей обтекает их, а они сами независимо и навечно рассекают толпу.

В эти тяжкие часы душевного напряжения, когда стараешься затеряться в шуме толпы, как сбежать от собственной судьбы, одна надежда на эту кошачью гибкость молодости, еще таящуюся в душе, выносящую из мусора прошлого лучшие мгновения, пронизанные гибкостью духа, интенсивностью внутренней жизни, переизбытком ее открывшихся связей с окружающей духовностью, тем родом мощного душевного любопытства, заставляющего углубляться и вглядываться в колодцы собственного прошлого, как в окна кафе и ресторанов, за которыми сидят чужие люди, но если пристально вглядеться, то оказывается, что это все те, кто прошел через твою жизнь, и ты среди них, видишь себя в окно, сам себя не узнаешь, но именно это отделенное от тебя твое прошлое "я" в эти напряженные часы испытания как никогда остро, забвенно и печально, дает возможность в полной мере увидеть те мгновения, несшие сквозь годы захлебывающуюся от полноты молодость жизни.

Во всех окнах многоэтажной гостиницы "Марина", замыкающей набережную с юга, горит свет: туристский сезон в разгаре. В гостиничном зале гремит музыка, танцуют: кому-то справляют бар-мицву¹...

Спускаюсь к самой кромке моря, чтобы идти в обратном направлении, на север, и мгновенно срезанный, как лезвием, береговым обрывом, исчезает, как будто его и не было, весь пестрый и призрачный мир набережной с огнями, шумами, голосами, шарканьем, и я остаюсь один на один с морем, песком, с ровным, как шум примуса, накатом волн, и некуда сбежать от этого пустого и обнаженного пространства, и суровая правда этих минут наваливается всей тяжестью и отчетливостью – всего в двухстах пятидесяти километрах севернее на этой же кромке идет высадка десанта, прорывы и засады, перестрелка, и перед глазами встают описанные сыном в последнюю побывку сцены учебной высадки с моря, когда

¹ Бар-мицва (иврит) – совершеннолетие.

они швыряли с кораблей резиновые надувные лодки, затем прыгали в них, и как поразил их тридцатилетний комбат Марковский, тут же, в лодке, улегшийся подремать, пока она дойдет до берега.

С трудом одолевая песок, иду вдоль кромки на север, как будто подымаюсь все время в гору, ощущая тяжкий изгиб земного шара к северу, иду ли к сыну, иду ли с сыном, и за спиной всплескивают в ладони, как бывает от горестных мыслей, волны, а море неожиданно и целиком открывается мне враждебным рокотом рукоплесканий, но я не хочу этим образом рукоплещущих в едином порыве рабских толп, столь знакомых мне по прежней жизни, позорить свободную стихию, присаживаюсь на корточки, окунаю ладони в набежавшую волну, идя с морем на мировую.

Самолетик береговой охраны, потрескивающий пропеллером, мигающий огнями, этакая уютно-трескучая летучая лампа, летит вдоль берега на север.

Два параллельно протянувшихся вдоль великих вод мира – призрачно клубящаяся огнями, шумами, толпами набережная и молчаливо и вечно сливающийся с прибоем берег – две чаши весов: на них взвешивается мое существование в этом изматывающем душу июне восемьдесят второго.

И опять переулки возвращают мне, словно эхо, голос диктора...

Засыпаю с выключенным транзистором, прижатым к уху.

Ах, эти отвлечения, отвлечения...

Сны наплывают волнами, захлеб, накрывая с головой, я пытаюсь выпрыгнуть, и поверхность вод рассекает меня надвое, я существую одновременно в двух стихиях, подобно кентавру, нижняя часть которого, животная, это – трезвость, именуемая самосохранением, а верхняя часть, человеческая, – безумием, и наплывает обвалом духоты и бессилия область печали, темная страна загнанных страхов, на всю жизнь связанная с ночными грузовиками, сдавленным плачем, пухом, летающим при луне, и все это повязано крест-накрест, накрепко, до крови врезающимися в тело словами – "геноцид, депортация, высылка": везут в сороковом, в сорок девятом – в задраенных наглухо вагонах, предназначенных для перевозки скота, на смерть перепуганных мужчин, стариков и старух, мужей, отделенных от жен с детьми, и катятся сквозь гремющий железными суставами мост, через Днестр, составы – в Аид, на восток, в область гибели и печали, канут в Лету, и весь этот мир железного скрежета и страхов выступает во сне какой-то колючей, запутанной и разворошенной полосой растений на болотистой, засасывающей почве, где-то посреди тех твердых земель моей жизни с недолго цветущей сиренью, с цветами, которые, подобно замороженным бабочкам, разбросанно застыли в обвалах летней зелени. После ливня, всколыхнувшего в детской душе страх и восторг, я, почти не мигая, подсматриваю в щель забора за яблоневыми и грушевыми деревьями, за кустами черешен и вишен, и все это сверкает и переливается каплями на фоне дальней арки моста и еще более дальней арки радуги – и в этой исчезающей свежести я набираюсь сил и спокойствия перед лицом вечности и будущих бед. Весь этот мир, у Днестра, с зеленью, подминающей дряхлые заборы, с запахами сумерек и речной прохлады, с мечтательным молчанием и редкими голосами проходящих в ночи парочек, в семидесятые годы срезанный грейдерами под корень и превращенный в гладкую, как бильярдный стол, залитую асфальтом набережную, – весь этот мир живет во мне прекрасным плавучим островком, грудой деревьев, вырванных с корнем, охапкой зелени, тайны и неистребимости жизни, сорванной потоком времени и плывущей через память, как, бывало, плыли по Днестру сорванные наводнением где-то в верховьях и несомые в открытое море огромные охапки зелени, деревьев, обломки домов, стропила крыш, и нет ничего прочнее и неотвратимей, чем эти островки, легко плывущие через жизнь, несомые разливами бедствия. Вода затапливает низкий левый берег, и вместе с деревьями по колено в воде стоят отец мой, мать, дед и бабушка, машут мне, а я уплываю на одном из этих островков, я еще в движении, они уда-

ляются, уменьшаются, окликают, голоса их утоньшаются, становятся прозрачными, отчетливыми: "Ефраим, Ефраим", – и между этими двумя окликами – вся моя жизнь, и в первом – я еще весь погружен в суету нижнего мира...

И я просыпаюсь в холодном поту от этого оклика дважды. Опять бубнит диктор в эти ранние часы кануна субботы.

Утренние часы глухо сглатываются сонно-сосредоточенным бездельем, перекладыванием бумаг, желанием ни о чем не думать, стуком посуды на кухне, где жена готовит обед, стараясь работой заглушить съедающую сердце тревогу, гудением пылесоса и плачем ребенка в соседних квартирах. На верхних этажах слышны голоса, кто-то кого-то окликает, и я вздрагиваю, и мне опять чудится, что слышу свое имя: "Ефраим". И еще раз. На верхних этажах несомненно какое-то движение, какой-то шум, беспокойство, какая-то тревога. Зброшенный в комнатах, я дремлю, я прислушиваюсь...

Тихий стук. Жена открывает дверь. В проеме стоит сын: с почерневшим лицом и весело сверкающими глазами, заросший, с выгоревшими добела волосами, в обмундировании, пропитанном пылью и грязью ливанских земель, с автоматом и каской за плечом. Таким внезапно видим мы его через месяц после начала войны и полного отсутствия связи, в первый приход. А на этажах шум. Мы стоим, онемев, а ошалевшие соседи бросаются на сына, волокут, как в тихой истерии, бутылки с компотом и торты. Это старухи на верхних этажах первые увидели его идущим от автобуса, издалека, это они выкрикивали мое имя...

Авраам и Ицхак тысячелетиями идут в гору. Поколения приходят и поколения уходят, и каждый раз опять видят этих двоих, идущих в гору, замерев, в тревоге, но как бы сквозь призрачную пелену.

Но вот испепеляющее солнце испытания, назначенного судьбой тебе, только тебе, одному тебе, вдруг сжигает эту пелену, вжигает в твою жизнь пуповину, к которой ты шел всей прошедшей жизнью и отныне прикреплен всей оставшейся...

Неразрешимость окутывает ирреальным светом двух, подымающихся в гору, выделяя их как самую сущность жизни, ее непреодолимую загадку...

Боль вечна.

Отступление в зиму сорок восьмого

1

Внезапно проваливаюсь в прошлое, как в прорубь. Ледяное лезвие подкатывает под сердце. И никого вокруг. Всех, кто мог протянуть руку помощи, унесли ледяные воды. Каждый навечно ушел в свою прорубь.

Я еще сопротивляюсь – ветру, который гонит в спину, швыряет пригоршни снега в лицо, забвению, которое пытается утянуть меня под лед, напрягаю память, как, оскользаясь, судорожно цепляются почти бесчувственными пальцами за края проруби. И несет меня в эту прорубь времени глубиной в тридцать семь лет, все под откос, вниз, в кривой переулок, трубой вверчивающийся в темную яму выюжного январского полдня, прохватывает ветром, охватывает снегом, из которого воздух выпит стужей, и я валюсь в эту трубу, на дне которой вот-вот обозначится силуэт моего дома под драной дранкой, а за ним, уже на самом дне, река Днестр, косо и намертво вмерзшая в изломы берегов, валюсь вместе с заборами, голыми стволами деревьев, вместе с четырнадцатью моими годами, которые мне минули сегодня, тринадцатого января, в новый год по старому исчислению. Переулок втягивает, как выюшка, весь городок Бендеры, косо сбегаящиеся улочки, редких прохожих, летит дранка, скрипят крыши, завывает ветер, обнажая мертвые травы из-под визжащего, как доска под рубанком, снега, возникает силуэт моего дома, так же внезапно, как исчез семь лет назад, в июле сорок первого, за ним исчезли – река, половина России, исчезли с лица земли отец, близкие, зарытые в суглинок, песок, глину, а силуэт дома вновь возник в январе сорок пятого, обозначился как ни в чем не бывало, такой же покосившийся, но прочно вросший в землю, разве что только тень войны, протянувшаяся от него в эти закатные часы, была неимоверно великой.

С трудом протискиваюсь в дверь, в комнатную теплынь, в невыветривающийся запах угля, который пропитывает зимы, наворачивая их в памяти вагонами для перевозки скота: в них мы ели и спали, на этом угле носило нас по заледенелым пространствам голода и гибели, и углем пахли хлеб, кипиток, люди, жизнь; протискиваюсь, прямо у дверей начинаю стаскивать с себя тряпье, тяжкие, как гири, какие-то каторжные ботинки, которые мама получила при раздаче "американских подарков", превращаюсь на глазах в щуплого подростка с равнодушным взглядом и вечно голодным ртом.

Говорят, где-то, совсем близко от нас вымирают целые села. Возвращаясь из школы, мы обычно ватагой проходим через каменные скелеты рынка, построенного румынами и до сих пор называемого "Халлой". Мы вдыхаем запахи сыра, молока, мяса. Мы застываем: изможденный мужик с выпученными от страха глазами хватается за прилавка кусок овечьего сыра, давится. Его бьют кулаками, палками, а он стоит, равнодушный ко всему, не падает, не сгибается. Ест...

Месяц назад я выбежал из дома в ночь на страшный плач матери. Она потеряла карточки на хлеб. Это было равносильно смерти. Спасло, что продали половину дома. На вырученные деньги купили кукурузную муку. Бабушка варит из нее жидкую похлебку, "баланду", которую она называет "балендра".

Голод обостряет память и надежду.

От похлебки идет пар. Жизнь кажется еще более заледеневшей. Гибель терпеливо дышит за стенами, наращивая на стекла окон толстые, тусклые оплывины льда. А между тем что-то происходит. Вот же, две недели назад, был обмен денег. Кто-то нес кредитки мешками. Кто-то покончил собой. Кого-то, уже совсем знакомого, посадили за анекдот. Пахнет

Сибирью. Пар от похлебки колыхнется нимбом над головами едоков. Кажется, все воды мира превратились в лед.

Страх высылки витает над замерзшими водами.

Даже мама припрятала веревки на случай, если придется вязать барахло. В репродукторе, купленном из последних денег неделю назад, поют о Сталине мудром. Вот уже несколько месяцев ребе Пустильник учит меня древнееврейскому, чтобы я мог в день поминовения читать молитву по отцу. В синагоге кашляют, скрипят скамейками, бубнят молитву старые евреи, повторяю за ними слова, мгновенно соединяющие с иным миром, таящимся на высотах: "Итгада,л, взиткадаш шмэ раба..."

– "Да возвеличится и воссвятится великое Имя Его", в продолговатом окне, покрытом льдом, край стекла под самой аркой неожиданно чист, и в нем краешек такого голубого, такого забытого неба, что больно щемит в груди; в перерыве между молитвами старики опять кашляют, переступают ногами, тихо говорят опять же о мудром "фетере Иоселе"², который, подумать только, совсем недавно, в декабре, поддержал в ООН раздел Палестины, часть евреям, часть арабам; для меня Палестина, как обратная сторона луны, слабое дуновение лермонтовской строки при перелистывании книги, мелькнувшее "веткой Палестины", песенка бабушки, очень уж приземленная для ее тонкого почти ангельского голоса: "Мы поедем в Палестину, там дадут нам десятину...", нечто палево-перламутровое, подобное Палеху, но никоим образом не вяжущееся с нежным плачем кантора, когда он выпевает слова "Бней Исраэль" и "Иерушалаим".

Неделю назад в наше привычно-тихое шевеление, называемое жизнью в этих покосившихся комнатках с потолочными балками, с которых падают ошметки известки, внезапно и непомерно мощно ворвалась лавина речей, хоров, оркестров, стихов, постановок, и все это изливалось из такой небольшой деревянной коробочки с матерчатым экраном, все это обрушилось на меня в первый день, я не уснул до окончания передач и проснулся с их началом, но уже на второй-третий день это "В начале..."³ значительно потускнело, голоса стали привычны, как потрескивание льда на окнах, только тонкие ручейки музыки среди смерзшихся снегов и общего заледенения странно питали душу голодного мальчика, сливаясь с канторским пением и говоря о ином, высоком и солнечном мире, до которого удастся добраться, если мы переживем этот ледниковый мрак и не умрем с голода.

От похлебки идет пар. Единственное, чем бабушка и мама могут угостить меня в мой день рождения, это рассказами об этом дне. Первом. Был сильный мороз. Мгла клубилась над поверхностью заледеневших вод, говорили, Днестр местами промерз до дна; в доме, в этом самом, было натоплено, как в парной. За стенами вьюга и снег, ледяная гибель, и сквозь эту заледенелую жизнь, как жарким дыханием прогревают глазок в заиндевевшем колодце окна, тонкими ручейками, то пересекаясь, то продолжая друг друга, текут голоса мамы и бабушки, мамин более высокий, певучий в разговоре, бабушкин деловитый, на идиш, совсем иной, чем в пении, когда его щемящая душу нежность изливается с такой незащитной доверчивостью, что слезы навертываются на глаза. Особенно потрясает наивностью и чистотой, какой-то запредельной и одновременно чересчур земной, песенка, распеваемая ею в день Отпущения грехов...

*Аби олы нэшомкалэх хосмын зэх ынтер,
Лейгт Готалейн дэм казены пычот...*⁴

² Фетер Иоселе (идиш): отец Иоселе. Речь о Сталине.

³ "В начале..." – первое слово первого стиха первой главы Первой книги Торы "Бэрешит..."

⁴ идиш:...Лишь только подписываются все души. Сам Господь кладет казенную печать...

Между тем совсем стемнело. Мгла ночи смешивается с вьюжной теменью. Над столом тускло горит лампочка. Близится десятый час. Я еще не родился, я еще плаваю в чревных водах, которые вот-вот отойдут – в пар, в лед, в облака, в снег, в смерть: вороны, оставшиеся на зиму, иногда замертво падают с веток в эти ночные часы. В доме полно людей, но не слышно голосов, какое то беззвучное обмирание. Я уже испытываю тягу мира снаружи, и это, вероятно, подобно сильному подводному течению: можно в нем захлебнуться, но оно может и вынести к жизни...

Кто-то говорит: "Отошли воды..."

Свет тускнеет от пара, облаком виснувшего над тазом.купают младенца. К маме в спальню входит бабушка. "Ну?" – спрашивает мама. "То, что ты хотела", – говорит бабушка. Мама хотела девочку.

Морозы лютуют все шесть первых дней и на седьмой – в день брит-мила⁵. Демоны вьюги завывают в дымоходе, скребутся в двери дома. Младенец тяжело входит в еврейство. Выгибается, синее. Каждую минуту разматывают пеленки. Сухи. Вода накапливается в тельце, вода душит. Проваливаясь в снег, борясь с ветром, обуянный страхом, бежит отец по бесконечным улицам – Протягайловской, Павловской, Соборной – к доктору Трейгеру, который по сей день (я встречаю его иногда) старушится в переулках, и, видя меня, говорит: "А, это тот самый, который написал мне полный карман". Миф о том, как младенец, выпустив, подобно китенку, струю, поплыл по водам жизни, является одним из кульминационных пунктов в нашей семейной хронике, но бабушка рассказывает о более ранних событиях и, оказывается, наш этот покосившийся саманный домик, подобно семейному ковчегу, плывет сквозь время еще из девятнадцатого столетия, волны огня и гибели перекачиваются через него, а он все держится на плаву: в восемнадцатом румыны гонят неорганизованные банды большевиков, и прямо в наше окно, выходящее в кривой, узкий, как труба, переулок, видно, как они набрасываются на проходящего румынского офицера и уволакивают его; в городке полно марроканских солдат в красных фесках, они дарят детям шоколад; на крыльце нашего дома стоит огромный негр в форме марокканского солдата, сверкает зубами, а ночью стены сотрясает оружейная канонада, дедушка закрывает ставни, ставит ведра с водой на подоконники, молится; за нашим забором, на спуске к Днестру, горит мельница Кордонского, апокалиптические куски огня падают с неба; ночью все вскакивают от оглушительного грохота: взорвали мост; румыны поставили на церковной колокольне пулемет; дед принимает решение уходить из дома, низами, вдоль заборов, через сады, в более безопасное место; через день все затихает, семья возвращается, еврейские парни из соседних домов прячут оборванцев из большевистских банд, чтобы потом при удобном случае переправить их на левый берег, который с этих дней окутывается легендой. Оттуда гонят петлюровцев, которым румыны разрешают перейти на этот берег, и опять евреи прячутся в домах, боясь погромов.

Легенда левого берега, откуда евреям должно прийти спасение, преследует меня с первым проблеском сознания.

2

Через текучее пространство в тридцать семь лет истоки моей жизни ощущаются медленными потоками, текущими молоком и медом, заверчивающими меня, покачивающими, укачивающими, с редким пробуждением, испугом, когда какая-то легкая тень на паучьих лапах пробегает, заслоняя на миг ровное солнечное истечение.

Словно бы досознательным знанием всю жизнь я пытаюсь додумать некую смутно размытую мысль: не предваряет ли мир сновидений, рекой текущий через человеческую

⁵ Обряд обрезания.

жизнь, отхватывающий половину этой жизни, с простотой чуда соединяющий в себе оба мира, реальный и потусторонний, неживую и живую материю, тех, кто умер, и тех, кто еще не родился, не предваряет ли, и намного, этот мир миг рождения человека, начинаясь в тот таинственный, но все же существующий миг, когда в органическом сгустке белков и углеводов пробуждается жизнь, толчком ли сердечной мышцы или сном? Что снится зародышу за долгие месяцы плавания в миниковчеге в глубинах материнского лона, в глубинах минипотопа, который, оказывается, может быть не только карающим, но и дающим жизнь? Не равна ли текущая рекой сновидений досознательная его память вечной, или, во всяком случае, самой длительной памяти рыб, единственно сохранившихся в потоке, онемевших от зрелища гибели и до сих пор разевающих в шоке рты? Но после рождения эта обширная досознательная память, лишенная фиксаций в окружающей жизни, более того, подавляемая яркостью любого живого мгновения, уходит на самое дно мира сновидений и вырывается оттуда, подобно вулкану из кратера, в часы бедствий, катастроф, войн...

За пять десятилетий моей жизни я тщусь изучить особенности этого мира сновидений. Оказывается, у него своя топография, и он, подобно реке, странной в своем упорстве, возвращается к месту истока, какие бы петли не заставляли его делать изгибы местности, времени, жизни. Даже если дом детства перестал существовать, человек продолжает в нем жить всю жизнь. Сколько раз в течение пятидесяти лет, просыпаясь среди ночи, в Сибири ли, в Москве, в Крыму ли, в Риме, на Рижском взморье ли, в Иерусалиме, в Бат-Яме ли, в туристской палатке на берегу Мертвого моря, в сумеречном состоянии между сном и пробуждением, привычно – лунатическим движением руки я ищу наощупь стену комнатки детства, чтобы опереться на нее; и хотя в следующую секунду мстительная реальность ударяет меня в бок углом незнакомой кровати, в лоб неизвестно куда идущей стеной, в ту секунду, когда я еще начинаю шарить вслепую, весь дом детства мгновенно выстраивается во мраке: мне ведь надо наружу, а из маленькой комнатки, где у одной стены сплю я, а у другой – похрапывает бабушка, я выхожу, как лунатик, в столовую, там, вокруг стола, под кистями желтого шестигранного абажура, на гранях которого забранные стеклами танцуют черные изящные силуэты старомодных кавалеров и дам в шляпах и шлейфах, сидят отец, мать, братья отца с женами, сестры с мужьями, бабушка (в мире сновидений так естественно, что она может в одно и то же время спать в комнатке, рядом со мной, и сидеть с гостями за столом), пар стоит над кукурузной похлебкой и блинчиками из картофельной шелухи, к которым они прикасаются, как к деликатесам, и неотрывно, с отчужденным дружелюбием, смотрят на меня; но мне ведь надо наружу, по малой нужде, я должен их обогнуть, вправо, через кухню, скорее похожую на узкий коридор с непомерно большой плитой, пустыми чугунками, ведром с водой для питья, дверью на огромном крюке; но можно и влево, через папин кабинет с парадной дверью, на которой табличка "Адвокат...", опять влево, юркнуть в мамину спальню, мимо огромной двуспальной кровати, в которой спят отец и мать, в "зимнюю" кухню, и... во двор; я стою в раздумье, сидящие за столом не спускают с меня глаз; решаю бежать влево, через папин кабинет, чтобы не проходить мимо сидящих за столом, но... ударяюсь в стену: ах, да, дверь же замуровали, когда продали половину дома – кабинет, спальню родителей, кухню, – чужая семья расположилась в пространстве моих младенческих лет.

Мир сновидений имеет свою меблировку. Вернувшись после столь долгой войны, поглотившей десятки миллионов жизней, мы находим на том же месте старый, изъеденный древоточками буфет: более полустолетия, с момента, когда дедушка и бабушка въехали в этот дом, стоит он, не сдвигаясь, украшенный искусной резьбой по дереву – рельефами, в которых сплетаются библейским мотивом, украшавшим Иерусалимский храм, виноградные лозы, гроздья, львы, вставшие на дыбы, и два цельновырезанных льва, раскрыв пасти и выставив лапы, поддерживают на головах верхнюю часть буфета; он виден из любой точки квартиры, вся остальная мебель возникает, шебуршится вокруг него, исчезает, меня-

ются столы, столики, стулья, а он стоит, дряхл и монументален, и львы придают ему черты сфинкса, и по сей день, через столько лет после того, как умерла мама, умерла бабушка, продали дом вместе с буфетом, а затем вообще снесли с лица земли, он постоянно мерцает в глубине моих снов как неизменная точка отсчета дней моей жизни на этой земле.

В моем мире сновидений отчетливо выделяются две топографии – большая и малая. Большая, широко и просторно заверчиваясь, разворачивается через окно на восток, окно маминой спальни. Малая, остро и стремительно отпрянув через окно на запад, окно из папиного кабинета, уходит, заворачиваясь узким потоком в трубе переулка, между домами, возвышающимися напротив нашего – домом Кучеренко слева и домом Карвасовских справа.

Спрятавшись под окном на восток, в маминой спальне, я медленно поднимаю голову над подоконником: появляются верхушки акаций, затем – крыши домов, они покачиваются, как поплавки на воде; затем я влезаю на подоконник, ложусь на живот и так, тоже покачиваясь как бы в дремоте, часами слежу за пространством, и оно катится вниз от нашего дома широким полем, изрытым старыми, полуразвалившимися, заросшими бурьяном и травой окопами, ударяется о полуобгоревшие стены так и не восстановленной мельницы Кордонского, продолжает катиться под откос, пока не проваливается крутым берегом в Днестр, и уже подхваченное его быстрым и сильным течением, уходит за дома и сараи; левый же, низкий берег, каждый год так широко и тревожно заливаемый весенним паводком, что целые острова фруктовых садов, тянущихся до самого горизонта, стоят по пояс в воде, притягивает взгляд неожиданно плавным, медленно и мощно разворачивающимся пространством, теряющимся в дымной дали; и неожиданным ключом, замыкающим все это сомнамбулическое круговращение ближних и дальних земель вместе с водами Днестра, горизонт прорезает колокольня Кицканского монастыря, и подобна она скрипичному ключу, дающему тональность этому музыкально-выстраивающемуся пространству, первую тональность, в которой я, еще и не осознавая этого, принимаю как нечаянный дар звучание огромного и прекрасного оркестра жизни.

Колокольня придает особую притягательность левому берегу, откуда в летние ночные часы вместе с запахом цветов неожиданным дуновением приносит обрывок песни, распеванной лихими женскими голосами: "И кто его знает, чего он моргает"... Эту песню я слышу, прокрадываясь иногда в кабинет к отцу, когда он, погасив свет и приглушив звук, слушает радио, и предметы вокруг, такие знакомые, становятся загадочными и враждебными в слабом свечении, изливаемом зеленым глазком приемника "Колумбия". "Говорит Москва, – подмигивает глазок, – радиостанция имени Коминтерна".

В доме с бабушкой говорят на идиш, а друг с другом по-русски, хотя в городе уже более восемнадцати лет румынская власть. Однажды отец приводит меня на вокзал, куда раз в неделю, после восстановления моста, прибывает поезд из России: поражает меня будка машиниста, которая в течение всей стоянки не открывается, и у двери будки, на лестнице, не отрывая ладони от каски с красной звездой, стоит солдат...

Как ни странно, только в шестидесятые годы, работая геологом, впервые оказываюсь в селе Кицканы. С трепетом, отвязавшись от попутчиков, приближаюсь через гниющие от избытка плодов яблоневые сады к монастырю. Более всего потрясает то, что монастырь стоит вовсе не на левом берегу, а на правом, просто Днестр резким изгибом поворачивает русло на восток, но из окна маминой спальни колокольня видна была в самой сердцевине левобережья. Монастырь заброшен, комнаты монахов загажены, оконные фрамуги выломаны, вход на колокольню забит. Сельское начальство доверительно мне сообщает: были случаи, пытались сброситься, потому и забили вход. Остро пахнет яблочной гнилью, пьянит соком, который начинает бродить в паданцах, кружит голову высота, влечет ощущением полета и гибели.

Замыкается еще один из кругов моей жизни.

Но и по сей день нередко началом сна, который стремительно разворачивается подобно полифоническому полотну музыки, возникает все та же дальняя колокольня, прокалывающая младенческое небо и несущая всю загадочность и полноту первых лет моей жизни...

А пока я покачиваюсь в дремоте, лежа на подоконнике, вглядываясь в даль, как сомнамбула, и никакие хлопки на реке, подобные выстрелам из моего пробкового пистолета, ни беготня румынских пограничников с ружьями наперевес мимо нашего дома, ни тревожно-любопытные лица соседей, высыпавших из соседних домов на улицу, не могут вывести меня из полусонного состояния, хотя где-то, за пределами дремоты, я отчетливо слышу голоса, тут же накатывающие снежный ком слухов: собака, говорят, плыла с того берега, на ней вроде бы кожаная сумка, стреляли по ней румыны, только у самого нашего берега убили, унесло ее течением, вот горе-войки, им бы сумку-то перехватить, ну вот, как всегда, облава в прибрежных улицах. К нам не заходят: на дверях табличка: "Адвокат..."

На границе все время что-то происходит. Во мне же эти события совершаются как бы в глубинах длящегося сомнамбулического сна. Даже более серьезные потрясения не вызывает особой реакции, кроме какого-то сонного любопытства. Помню день смерти деда Шлоймс, отца моего отца, сильный мороз, дом, полный зажженных свечей, духоты, белых полотен, множества бесшумно перемещающихся людей. Меня укутывают в одежки, выходим из дома деда, лихой извозчик везет нас на санях так, что полозья заносит вбок, и они до рези в ушах визжат в ледяном воздухе. Угорев от свечей, выйдя на мороз, а затем вернувшись в теплынь нашего дома, от резких перепадов температуры я падаю в первый мой обморок. Прийдя в себя, лежу в каком-то сладостном умиротворении, плаваю в небесной легкости и нежной слабости, над которыми в панике мечутся тени мамы, бабушки, отца.

Это, несомненно, первое сильное и чудное переживание сродни второму, не менее сильному, когда я, четырехлетний, стою у подножья лестницы, ведущей на чердак, по ней поднимается с ворохом стирки моя нянечка Сюня, и я вдруг вижу ее длинные стройные ноги из-под взлетевшего на ветру платья, и она смотрит вниз, на меня, краснеет, зажимает платье коленями, кричит: "Отойди от лестницы, бесстыдник..."

Но два этих события ощущаются скорее не пробуждением от длящегося сна, а еще большим погружением в его сладостные глубины.

Брат Сюни Митрофан (о нем шепчут, что он ходит на левый берег, но румыны его никак не могут поймать на месте преступления) очередной персонаж, который однажды отвлекает меня от созерцания широких пространств в восточном окне и приковывает к окну на запад: румынские пограничники заставляют его проделывать упражнения в узком, как труба, переулке, выходящем прямо на это окно, – лечь, кричат ему, встать, лечь, встать. Они наказывают его за неимением улик, объясняет мне мама.

В мире сновидений малая топография, пружиной разворачивающаяся на запад кривым переулком, особенно мне близка, ибо не сосчитать, сколько раз я прощупал это пространство собственными ногами. Я все еще как бы сплю, когда папа, лейтенант артиллерии, уходит на военные сборы в румынскую армию, и я провожаю его до середины переулка, он обнимает и целует меня на прощание, а потом, через некоторое время, прискакивает верхом на коне, в длинной до пят шинели, с шашкой в ножнах, и все соседи вытягивают в окна свои неожиданно удлинившиеся шеи; затем он снова, в военной форме, появляется в доме, берет меня с собой, и мы едем в экипаже, кони звонко стучат копытами по каменной кладке мостовой, скачем в магазин игрушек, отец покупает мне огромный пистолет, гараж с маленькими автомашинами и башней; дутые шины экипажа ловко приминают землю в переулке, в небе серп луны, мы возвращаемся, и вместо стука я стреляю пробкой в парадную дверь.

Я все еще сплю, когда зимой отец заболевает сыпным тифом, консилиум врачей собирается в его кабинете, мама все повторяет имена – доктор Юнт, доктор Трейгер, отец лежит в спальне и бредит, приезжает карета скорой помощи, отца одевают, как ребенка, качающе-

гося выводят под руки, сажают в карету. Дней через десять он возвращается из больницы, худой, бледный, стриженный, виновато улыбающийся.

Переулочек – пуповина, соединяющая меня с широким миром: по нему я ухожу к вокзалу, собираясь в Москву или Крым, по нему возвращаюсь из Сибири. И по сей день в мире снов он возникает, сумеречный и безлюдный, лунатически освещаемый фонарем, висющим на столбе у дома Карвасовских. В неверном свете полдневного солнца я вижу сквозь решетчатый забор во дворе Кучеренко пожухшие стволы кукурузы и подсолнуха, поднимаюсь по переулочку, утопая в пыли или увязая в грязи после дождя, вот я уже наверху холма, справа дом Барака, молчаливого господина, зимой и летом застегнутого на все пуговицы, в шляпе, с зонтиком, страдающего падучей (однажды я видел, как он упал в переулочке, его накрыли черной материей, потом он встал сам, пошел к себе), напротив – дом, в котором живет шумное расхристанное племя цыган, все курчавые, пестрые, крикливые; начинается спуск – к дому Селитриника, напротив которого живут глухой Янкель с Мындл и семья Радошевичей, а за ними уже видна пустошь с заброшенным колодезем, куда однажды упал Бенюмчик, блаженненький с нашей улицы, двое суток пролежал, пока случайно кто-то из проходящих не услышал стоны...

В шестидесятые годы весь этот холм был срезан под корень, и от нашего дома открылось сквозное пространство до той пустоши и дома Селитриника, топография, и без того малая, сжалась вовсе, скучные коробки пятиэтажных зданий и дома культуры геометризировали эту топографию, высосав из нее всю жизнь. Но в мире моих сновидений все встречи с теми, которых уже нет, кто есть и кто еще будет, происходят в этом переулочке, в дремотной тишине ночи, при слабом свете фонаря, висящего на столбе у дома Карвасовских.

В тридцать восьмом ощущение тревоги усиливается, витает над нашим домом, переулочком, городом. Весной с оглушающим грохотом ломаются льды на Днестре, гул ледохода слабо сотрясает стены, не дает спать, словно бы усиливаются подземные толчки приближающейся катастрофы; отец заперся в кабинете с братьями и друзьями: о чем-то глухо переговариваются; близятся выборы в румынском королевстве, весь город облеплен листовками: партии радикалов, либералов, царанистов призывают, клянут, предупреждают; но страшнее всех фашистская партия Кузы. Известный поэт Гога – идеолог этой партии: его маленькую лысую шишковатую голову я вижу на листовке, которую лепит к забору, в центре города, худой длинноносый мужчина, почему-то облаченный в синюю робу и синий колпак; мы проходим мимо, отец держит меня за руку, а над нами, высоко на столбе, висит огромная, метра в два диаметром, сбита из дерева, окрашенная в синий цвет и усеянная электрическими лампочками свастика, и сияние ее видно через весь город. Видение погрома носится в воздухе перьями и пухом нашей соседки старухи Перл, которая вдруг вздумала пересыпать перины и подушки; соседи справа, староверы Морозовы, чьи рожи, как прилепленные, торчат над нашим забором, чуть раздастся в нашем дворе чей-то голос, соседи напротив, Карвасовские, интеллигентные антисемиты, со звериным добродушием принимают к нашему дому, всматриваются в наши лица.

Поздней ночью раздастся стук в парадную дверь. Мама, только вымывшая голову, обернув волосы в полотенце, на цыпочках подходит к двери, испуганно спрашивает, кто там. Это брат отца Рувин. Огромный, лысеющий, потный, он врывается в дом, обнимает всех, кто попадает под руки, целует: Куза провалился на выборах, Гога с досады получил разрыв сердца, говорят, на похоронах у его трупа стоять нельзя было, вонял неимоверно, этот Амманчик. Евреи высыпали на улицы, распахнули окна и двери. В домах Морозовых и Карвасовских темень.

Коротка радость. Тревога не рассеивается. Осень тридцать девятого, дни скорбных молитв и поста, отец в синагоге, мама, бабушка и я на балконе для женщин, снизу доносятся плач кантора, бормотание мужчин, по балкону ползут пугающие слухи: железно гвар-

дейцы хотели совершить путч, скинуть короля, убили проезжающего на машине министра иностранных дел Армана Калинеску, захватили радиостанцию в Бухаресте, но армия быстро подавила этот путч; в каждом городе берут по заложнику из этих железногвардейцев и расстреливают на центральной площади; пока мы здесь молимся, взяли одного из них, этого красавца, винооторговца, из немцев-поселенцев, Гендерайха, да, да, прямо вывели из винного подвала, около парка, на углу Харузина и Константиновской, в праздничной белой рубашке и в этом берете, который все эти разбойники носят, вывели в парк, напротив кино Кордонского, поставили перед памятником бывшего премьер-министра Дуки, прочитали какую-то бумажку и тут же расстреляли; он сейчас там лежит, весь в крови, и так будет лежать пару дней, а рядом стоят два солдата, на карауле, у такой "вывески", а на ней, значит, написано: "Кто будет против короля, тому такая участь". Бормотание молящихся мужчин усиливается, трубят шофар. Евреи целуются, желают друг другу доброго нового года, отец отдает маме талит, берет меня за руку, и мы идем в центр, почти погруженный во тьму: по случаю траура фонари не горят. Слухи, сотрясавшие балкон синагоги, подтверждаются: мы с папой вместе с толпой обходим труп огромного человека, лежащего в крови, видим солдат и "вывеску", как выразилась толстая рыжая еврейка, шепотом передававшая слухи в духоте и скученности молящихся женщин. Мы даже останавливаемся на миг над убитым. Но я все еще как бы пребываю в дремоте, все еще не испытываю страха.

Первый страх в одно мгновение отбрасывает долго ткущееся дремотно-сладкое пространство первых пяти лет моей жизни. Зима сорокового завалила снегами поле с полуразрушенными окопами, бегущее мимо нашего дома к Днестру. С мальчишками старше меня я играю в войну на этом поле, бегу и вдруг проваливаюсь в окоп, скрытый под снегом. Я барахтаюсь, снег забивает мне рот и глаза, я все больше погружаюсь, я плачу и кричу, а надо мной склонились зверино хохочущие рожи мальчишек: свора с любопытством следит, что же со мной будет. И это в нескольких десятках метров от моего дома. Внезапно страшное ощущение беспомощности захлестывает меня с головой. Какой-то прохожий разогнав свору зрителей, вытаскивает меня из ямы. Долго мне еще снятся хари этих мальчишек, набежавших из каких-то переулков.

3

Поздний час. Печка остыла, надо быстро прятаться под одеяло, ледяная стужа так и дышит сквозь окна, в дымоходе не унимаются демоны вьюги, но мама боится закрывать верхнюю вьюшку, чтобы мы не угорели. В радио продолжают вещать о Сталине мудром.

— А помнишь?.. — говорит мама.

Да, теперь я уже помню, я уже выплыл из солнечного младенческого беспометства.

Вздвигнув, просыпаюсь среди ночи. Ледяная склепная тишина. Вероятно, в этот миг прекратилась вьюга. Внезапное молчание разбудило меня. Ощущение, что кто-то вырвал тебя из сна, глубокого и сладкого, вырвал буквально, руками, мгновенно возвращает в осеннюю ночь сорокового: знакомые руки вырывают меня из редкого по глубине и покою сна, я на руках у отца, трясет стены, с потолка сыпется известка, угрожающий гул, утробный, глубинный, идет от Днестра, мы на улице, темень, ни один фонарь не горит, земля качается под ногами, во мгле, вероятно, близящейся к рассвету, и потому какой-то пепельно-серой, воды Днестра кажутся черными, вздувшимися, бурлящими, как при кипении, слышны крики женщин, но истерическим, почти безумным криком исходит старуха Перл, животный страх в эти мгновения лишил ее рассудка, отец пытается ее успокоить...

Землетрясение сорокового года, пришедшее по глубинным земным трещинам из предгорных альпийских впадин в районе Бухареста и Плоешт, — еще одно бедствие в цепи все более усиливающихся толчков приближающейся катастрофы (странное сокровенно-тревож-

ное совпадение, неожиданным толчком вошедшее в эти строки: через сорок шесть лет и семь с половиной месяцев после этой ночи, 30 августа тысяча девятьсот восемьдесят шестого, к ночи, откладывая ручку на строке, предваряющей описание землетрясения сорокового года, с высоты пятого нашего этажа бросаю взгляд на ночной Бат-Ям, посверкивающий огнями, на темное звездное небо, уходящее вдаль над Средиземным морем, и с мыслью о той ночи, когда отец вырвал меня из сна, ложусь спать; в семь утра по привычке, проснувшись, слушаю последние известия на иврите по радиостанции "Армии обороны Израиля", вздрагиваю: в два часа ночи и районе Плоешты-Бухарест с направлением на Софию и Белград произошло землетрясение 6,8 баллов по шкале Рихтера, и первый испуг, замирание, глупая мысль, наивное движение души: не вызвало ли напряженное сосредоточение духа на этом давнем событии смещений в пространстве мест отошедшей жизни, вернувшись на круги свои, не замкнулся ли еще один круг моей жизни, вызвав это новое бедствие?)...

Знаки тревоги в первой половине далекого сорокового угрожающе усиливаются: продолжают поговаривать о близящемся погроме; ночью, возвращаясь от знакомых, отец с матерью сталкиваются с какими-то подозрительными личностями, шатающимися по нашему переулку. Последние дни мая какие-то особенно мягкие, воздух легкий, просквозен высоким, но нежарким солнцем, так, что крыши домов, стекла окон, дальний мост поверх нашего забора, кажутся отчетливо приближенными и блестящими, облака летучи, доцветающая сирень блекло-фиолетовыми обвалами пены перехлестывает через доски забора, изредка налетающий короткий дождь оставляет за собой сверкающие каплями деревья, провода, травы. Июньские ночи нагнетают тревогу: по улицам едут грузовики с солдатами, слышны отрывистые выкрики команды; днем на поле, к востоку от нашего дома, солдаты усиленно восстанавливают старые завалившиеся окопы, роют траншею вдоль нашего забора, обращенного к Днестру; на крыльце дома Кучеренко сидит румынский пехотный капитан с обветренным-мужественным, тронутым ранним загаром лицом, в ладно подогнанной серой с красной подкладкой шинели и фуражке с красным околышем, похлестывает прутиком по голенищам сапог и дружески беседует с нами, обступившими его мальчишками, на великолепном русском (вероятно, из царских офицеров, в двадцатые годы спасшихся от большевиков), привстает при виде приближающегося отца, отдает честь, уважительно называя его: "Господин адвокат...", они говорят о чем-то мне непонятном, офицер каким-то твердым и печальным, каким-то пронзительным взглядом смотрит на левый русский берег; помню лишь обрывок фразы: "Мы еще вернемся..." Отец уводит меня домой. В наш дом и во все соседние поставили на постой офицеров: строгий, поскрипывающий ремнями майор ночует в папином кабинете, приходит далеко полночь, уходит до рассвета, все вещи при нем в полевой сумке, но круглые сутки у парадной стоит часовой; папа, до предела приглушив звук, пытается слушать Москву. Внезапно, в темноте, вбежав в столовую, сдавленным от волнения голосом говорит: "Русские дали ультиматум румынам: в течение двадцати четырех часов освободить Бессарабию". После полуночи офицер не приходит, исчезает часовой. Улицы темны и безлюдны. Ощущение полной заброшенности и незащитности не дает уснуть; кажется, все пространство вдоль границы, с домами, деревьями, людьми, животными, вымерло. Даже пес не тявкнет, петух не прокричит, только слышно, как отец босиком шагает вдоль кабинета, туда, назад. Никогда в жизни я не ощущал такой могильной тишины. Среди ночи с левого берега раздается оружейный выстрел, вероятно, холостой, последующего взрыва не слышно. На рассвете стучат в калитку. Румынский лейтенант с группой солдат и станковым пулеметом проходит через наш двор, чтобы занять позиции в свежевырытой траншее, нам приказывают покинуть дом, и тут я впадаю в рев, я не хочу уходить из дому, меня успокаивают: мы уходим на несколько часов, совсем недалеко, за угол, к папиному младшему брату Шае и тете Хоне, его жене, это же совсем рядом, на улице Комендантской, а я реву взахлеб, никогда ни раньше, ни позже я не испытывал до такой остроты и боли,

что я оставляю самое дорогое, ну просто сросшееся с моей жизнью; проходящий мимо меня солдат разматывает телефонный кабель, равнодушно смотрит на нас тусклым отсутствующим взглядом.

Мы сидим на скамейках в неглубоком, обширном, как сарай, подвале дяди Шаи, двери подвала распахнуты, полдневные тени подчеркивают яркость июньского солнца. В небе слышен гул. Выскакиваем на солнце: высоко в небе летят русские самолеты, облака листовок дождем осыпают город. С улицы заглядывают соседи пиши Морозовы, говорят: румыны уже часа два, как покинули траншею. Возвращаемся домой, отец, снимает замок с двери, а поверх забора так ясно – в полдневном солнце: сотни людей облепили мост, виснут на его переплетениях, видно, как по мосту движутся малые, приземистые, похожие на жаб танки. По улице бегают взволнованные люди, о чем-то перекрикиваются, все окна в домах распахнуты. Неожиданно откуда-то высыпают на конях военные в синих фуражках с красными околышами, они скачут по улицам, переулкам, люди машут им, выкрикивают приветствия. Папа ведет меня в город. На всех углах продают красную материю, очевидно, на флаги, обе стороны Николаевской улицы, ведущей к старой турецкой крепости, вросшей в землю, но еще действующей, запружены народом, По улице строем идут и идут солдаты, все в касках, усталые, запыленные, какие-то неожиданно маленькие, кривоногие, в обмотках, в гимнастерках и штанах выцветше-зеленого цвета, с длинными, как иглы, штыками, примкнутыми к невероятно длинным ружьям; они вовсе не похожи на того богатырского вида солдата в такой же каске с красной звездой, который стоял недвижно, отдавая честь, у будки машиниста, на поезде, прибывавшем из России. Солдаты поют устало, негромко, но их много, и тысячеголосое пение, притаптываемое стуком тысяч тяжелых ботинок, сотрясает воздух, обдает жаркой потной волной, меня качает на плечах отца, но я не могу оторвать взгляда от мужчины, явно еврея, идущего у края колонны, вместе с солдатами: все его нелепо искривленное тело рвется из вывернутых со сбитыми каблуками туфель и словно бы перекрученного набок костюма, из изогнутой с остервенело надувшимися жилами долгой шеи к лицу, перекошенному огромным раскрытым ртом; он не поет – в безумном воодушевлении, весь исходя в крик, он орет: "Кипучая, могучая..."

Отец оставляет меня дома, опять убегает в город. Обычно сдержанный, он оживлен необычайно, глаза блестят. Возвращается поздно ночью; мельком – маме, усталым встревоженным голосом: "... Услышал, два солдата говорят между собой: пусть гуляют, пока узнают, что к чему..."

Долго ждать не приходится: отец не может устроиться на работу, кто-то капнул на него, что он симпатизировал либералам. Мать вынуждена пойти на работу кассиршей в столовую. К нам подселяют пехотного капитана Пантелея Ивановича Перминова с женой Марусей и тещей, угрюмой крупнотелой старухой Пелагеей Ивановной с исподлобным взглядом из-под вечного белого в черную крапинку платка. По сути, это уплотнение. Семья капитана занимает, так сказать, бабушкину половину: столовую, спальню и кухню, мы все перебираемся в бывший папин кабинет (табличку "Адвокат..." сняли) и мамину спальню. С большим трудом отцу, уже известному адвокату с именем и практикой, удастся устроиться секретарем народного суда, расположенного на втором этаже здания, где на первом – столовая-ресторан, в которой работает мама. В эти тревожные дни, когда к цепи бедствий прибавляется еще одно, шепотом передаваемое друг другу слово "высылка", и по ночам все замирает при каждой проезжающей машине и выкриках команды, больше всего удовольствий выпадает на мою долю. Целыми днями околачиваюсь то в столовой у мамы, где меня беспрерывно потчуют клубникой в сметане, посыпанной сахаром, то подымаюсь на второй этаж к отцу, когда заканчиваются судебные заседания, гуляю по пустому залу, пересаживаюсь со стула на стул, но особенно люблю посиживать в маленькой башенке, подобно фонарю нависающей над центральной улицей: вход в башенку с помоста, на котором заседают судьи, окна

башенки широкие, арочные, застекленные, подобно витражу, кусками разноцветного стекла, это единственная такого рода башенка в городе; и разглядываю сквозь цветные стекла толпы людей, текущие под нами вдоль центральной улицы, уже носящей имя Ленина.

Капитан Перминов, странно похожий на того румынского капитана, говорившего по-русски, но какой-то более обмякший, морщинистый, обкатанный, оказывается добрым малым, у меня с ним устанавливаются особые приятельские отношения, он часто берет меня на машине в крепость к неудовольствию тещи его Пелагеи Ивановны, знакомит с другими офицерами, все похвывается тем, что я знаю много русских песенок, словно бы это личная его заслуга. Затаив дыхание, присаживаюсь к нему вечером в бабушкиной спальне: разбирает, смазывает, собирает свой наган, дает мне покрутить пустой барабан. Однажды собираются у него офицеры, то ли день рождения справлять, то ли просто выпить, в разгар веселья зовет меня, разворачивает газету со снимком: "Кто это?" Офицеры, как любопытные мальчишки, притаились в ожидании. "Это – Молотов, это – Гитлер, это – Риббентроп", – лихо отчеканиваю, вызвав бурные аплодисменты, во время которых пытаюсь, шурясь на желтый наш абажур, продолжающий висеть в столовой, сосчитать квадраты, ромбы и шпалы на воротниках офицеров.

На следующее же утро мы с мамой и бабушкой отправляемся пешком на товарную станцию, где стоят вагоны для перевозки скота, набитые семьями высланных. Мужчины – в одних вагонах, женщины и дети – в других. Небритые, потерявшие всякую надежду, безучастные лица по очереди выглядывают из маленьких зарешеченных окон, пробитых под самыми крышами вагонов, наглухо запертых. Вдоль эшелона прохаживаются конвоиры, позволяют знакомым и близким передавать хлеб, покрикивая на тех, кто чересчур замешкался. Бабушка отыскивает брата своего Мохтхэ-Иосла, бывшего владельца мануфактурного магазина, передает ему, а потом и жене его Хае свежие калачи, которые она почему-то называет "франзолями" (оба через полгода умрут в лесах под Тюменью). Мама тихонько плачет. Бабушка и слезы не роняет, памятуя свои давние счеты с братом, который, как она говорит, выпил у нее много крови, сменяют ее иные заботы: сын, брат мамы, дядя Суня остался в Бухаресте и с ним потеряна всякая связь.

Тревога прочно поселяется в доме. Отец с мамой все время перешептываются, ходят хмурые, в каком-то беспрерывном и безотчетном страхе.

Солнечно летучий ветерок июня обвеивает лицо, я забираюсь в буйно выросшие травы в глубине двора, ложусь навзничь, слежу за облаками сквозь высокие, пахнущие арбузной свежестью, глянцево посверкивающие зеленым травинки, ощущая невероятную легкость пролетающей моей жизни. Но за всем этим беспрерывно и неумолчно чудится какое-то гудение. Оно напоминает гул в ночь землетрясения, но более слабо, подспудно, то ли идет из-под земли, то ли с высот.

Может ли гул приближающейся катастрофы быть растворенным в самом воздухе времени? Ведь близится, с часу на час, с минуты на минуту чудовищная, с долгим, в четыре года, погружением в безумие и гибель мировая война...

Вечереет. В окнах вспыхивает свет. Пахнет ночными фиалками. Капитан тихо окликает меня из окна бабушкиной спальни. В кухне Пелагея Ивановна свирепо гремит чугунами, в столовой заплаканная Маруся гладит мужу гимнастерку, а мы сидим в спальне: опять смазывается и собирается наган, а я что-то бормочу про гудение. "Оставь-ка ты все это, – вдруг весело говорит капитан, – гудение-мудение... Какое еще там гудение, когда у тебя такой звонкий голос, а ну-ка давай споем, ну, чего там, – обнимает меня за плечи, – начинай, брат, "с юга до Урала ты со мной шагала..."

В дверь просовывает голову старуха Пелагея: "Вы чего? Совсем сдурели? Старэ як малэ". Махнув рукой на поющих, прикрывает дверь...

Поздно ночью просыпаюсь: пришла мама с последней смены. Шепчет отцу: "Сейчас в переулке встретила Пантелея Ивановича с чемоданчиком... "Прощайте, – говорит, может больше и не свидимся".

4

Как странно река времени с водоворотами, заводями, тихим течением и бурными перекатами лет, оставляет то тут, то там островки памяти, цепляющиеся за мимолетные детали, как за подводные коряги; такой островок со временем закрепляется, выбрасывая подробности, подобно якорям, и никакое наводнение событий, будь то радости или бедствия, не способно залить его забвением, опрокинуть, сорвать с места.

Таким островком врезался мне в память июньский давний вечер, золотистый, печальный и легкий, неожиданно перекликающийся и отдающийся болью в этом, сегодняшнем, – январском, голодном, ледяном, через шесть с половиной лет, в той же столовой, из которой столько повымело, и не только предметов, но и человеческих жизней.

В утро того дня приехала дребезжащая от старости полуторка, на которую Маруся погрузила свои чемоданы и тюки с барахлом; мы все стояли на парадном крыльце, Маруся, всегда жившая в тени своей суровой матери, подошла к нам, обнялась с моей мамой, обе расплакались, старуха Пелагея села в кабину, даже не попрощавшись, и полуторка, тарахтя и валясь набок, скрылась в переулке.

И вот, вечером, всей семьей мы опять сидим в столовой под желтым старинным абажуром с кистями, дамами и кавалерами, чье настырное постороннее присутствие постоянно мной ощущается: возникая мгновенно со вспыхивающим светом, они встречаются в любой разговор, перебранку или примирение.

Мы сидим вокруг стола, все какие-то умиротворенные, отрешенные. В раскрытые окна вместе с тишиной и звоном цикад вливается сладкий запах фиалок и маттиол. Ночные бабочки летают вокруг абажура, над стаканами золотистого чая с ломтиками лимона в посверкивающих на свету серебряных подстаканниках. Позвякивая ложечками, мы с печальными улыбками следим за бабочками, ощущая эфемерность давно нас не посещавшего, такого прекрасного покоя, в этих стенах, в которых совсем недавно жили чужие люди, тоже обжившиеся в них и вот же, опять покинувшие, вечные скитальцы, и подспудно предчувствуем, что скоро и нам всем предстоит быть брошенными в водоворот скитаний и бедствий, и Бог знает, что с нами будет, и, быть может, это последний такой чудесный вечер в нашей жизни.

За моей спиной буфет, светящийся всеми своими вензелями и гербами, но в этот вечер такой домашний, гостеприимно распахивающийся, когда бабушка достает из него варенье к чаю, и нас обдает смешанным запахом ванили, корицы, чая; с буфета и начинаются воспоминания: мама, известная в нашей семье лакомка, в юности, увидев через окно, как бабушка вынимает из буфета банки с вареньем, с такой силой прижалась к стеклу, что раздавила его лбом; в другой раз, тайком от бабушки, она взобралась на буфет с ложкой, но тут внезапно (как всегда) вошла бабушка, и мама свалилась с буфета. Все, смеясь, обращают взоры на меня: пришла и моя очередь, я ведь тоже не прочь полакомиться, и однажды, когда бабушка, потеряв бдительность, поздравляла меня с днем Ангела и, расслабленная от нежных чувств, целовала меня в лоб, я ухитрился вытащить у нее из кармана ключи от буфета, тайком основательно приложиться к вареньям, затем подложить ключи ей под подушку. Обнаружив их там, бабушка долго не могла прийти в себя от удивления и объяснила все это себе, как всегда, усиливающимся склерозом и бессонницей, хотя спала она крепко, всем нам на зависть.

Упоминание Ангела, как мне показалось, вызвало какое-то дуновение, словно бы окликнутый нами, он прилетел с высот, он среди нас, невидимый, золотисто-белый, улыбающийся и беспомощный, ведь он-то не просто предчувствует, он знает, что нас ждет. Меня уводят спать, и я в последний раз окидываю взглядом, словно пытаюсь вобрать навек эту пасторальную картину, всех дорогих мне людей, в золотистом облаке света сидящих за столом, и эта последняя тайная такая пасхальная вечеря словно бы окутывается этим облаком, зависает, обретает летучесть, теряя земные корни, отрубив якоря, плывет небесным видением над рекой времени, и нимб обреченности уже витает над головой каждого.

Не смотрит ли Ангел на это видение моими глазами? Не является ли память о некоем отчетливо схваченном образе болью и сожалением о некоем мимолетном миге?

Последнее, что я вижу, закрывая глаза, – тонкий луч света на полу, в щели закрывающейся двери, – не стопу ли Ангела?..

С утра пасторальное настроение продолжается. Мама копается в грядках с цветами, руки ее пахнут свежей землей, отец читает книгу, бабушка варит компот из слив, его сносят в кастрюле в подвал, чтобы он стал холодным к обеду, за которым случается неприятная заминка: мама обнаруживает в одном из блюдец с компотом, под сливами, иголки. Шьет в нашем доме одна бабушка, которая всплескивает руками, хватается за голову, проклиная склероз. Но все как-то улаживается, отец отправляется слушать радио, мама – поспать после обеда, бабушка моет посуду, тихонько под нос напевая любимую свою песенку:

*Юрн циен, юрн флиен,
юрн лойфн гур ун а шрек.
менчен олтын зэх алтмиен,
зэй миен зэх гур ун а нэк...⁶*

Я слоняюсь от безделья по двору, выхожу на парадное крыльцо, которое мама только что оплеснула ведром воды и оно чуть дымится, блестя на солнце синим асфальтом...

Внезапно, прямо над моей головой, из высоко замершего в небе черного облачка вырывается самолет. Раздается пулеметная очередь. То ли это эхо очереди, то ли другая доносится снизу. Все замолкает. Сажу на крыльце, как пришибленный, словно бы в каком-то столбняке, так, что не успеваю даже заметить, как на улицу высыпали все соседи. Отец открывает парадную дверь, говорит: "Началась война..."

Во второй половине дня пасторальная тишина продолжает витать над городом, но она до предела заряжена тревогой и страхом. Люди сидят на скамейках у своих домов, во дворах, но кажутся оцепенелыми, как жуки, которые перед приближающейся опасностью притворяются мертвыми. Ощущение этой оцепенелости часто приходило в годы войны, в самые страшные ее минуты.

Только в центре еще замечается какое-то шевеление. И я сижу в башенке с цветными витражами (отца вызвали на работу, и он взял меня с собой), гляжу на это шевеление толпы подо мной, и свет солнца, какой-то неверный, пепельно-пыльный, свет обреченности, ложится на спины людей, на их лица, на весь городок, такой распахнутый и беспомощный перед любыми угрозами с неба.

5

Со следующего утра, ранней ранью, нас вбрасывает в истерический водоворот войны; еще во сне я в ужасе, в первый раз слышу гнусавый вой немецких бомбардировщиков; глухие удары начинают сотрясать дом, с потолка сыплется известка, как при землетрясении, немцы

⁶ *идиш: Годы тянутся, годы летят, годы бегут без испуга. Люди все еще продолжают мучаться, мучаются они без конца...

бомбят мост; скребутся в парадную дверь, отец открывает, незнакомая женщина с обезумевшими глазами пробегает мимо него в мамину спальню, забивается под кровать, отец тщетно пытается ее успокоить, выманить из-под кровати; мы спускаемся в подвал, зажигаем свечу; при каждом ударе со стен подвала осыпается земля, подрагивает пламя свечи, пахнет сырой плесенью; так и не помню, куда исчезла женщина, события набегают друг на друга с такой скоростью, смешиваются, сбивают с ног, исчезают в провалах памяти, что все время ходишь, как очумелый, все время хочется спать, это желание преследует меня через все годы войны, потому все и воспринимается, как сквозь сон, дни то бегут, то тянутся невыносимо медленно, в тихой истерии, когда непрерывная упаковка, перепакровка сменяется сиренами воздушной тревоги, большей частью ложной, а бомбить мост начинают неожиданно, и однажды бомбежка достигает такой силы, что мы, в испуге побросав все, бежим за квартал, в дом Бликштейна, где в огромном глубоком подвале сбилось множество народа, у всех испуганные землистые лица, а соседи наши Карвасовские, которые давно и с нетерпением ожидают прихода немцев, никуда не прячутся, с усмешечкой встречают нас, возвращающихся из подвала Бликштейна; дни бегут, покидаем дом, навешиваем замок на дверь, как будто через день-два вернемся; ошеломляющая наивность среди всеобщей гибели; рожи Морозовых торчат над забором, телега с тюками ползет к мосту, на тюках бабушка, мы пешком плетемся за телегой с одной мыслью: только бы успеть проскочить мост; веселые стриженные солдатики на грузовике предлагают мне взобраться к ним, я не прочь, я уже срываюсь с места, как очумелый, мама ловит меня за руку; все сдвинулось, все ползет, шевелится, горбится; Тирасполь наводнен беженцами, мы спим в доме человека по фамилии Косой, мимо дома день и ночь едут машины, танки, идут колонны, в суматошном свете следующего дня я вдруг вижу в этом потоке брата отца, дядю Рувина, на огромном гусеничном тракторе рядом с водителем, я кричу, пытаюсь к нему прорваться, меня опять кто-то ловит; "Ты что, сошел с ума?" – кричит мама; сама атмосфера, вероятно, то ввергает меня в долгую сонную апатию, то швыряет на какие-то лихорадочные поступки, а истерия продолжается: в момент погрузки на тираспольском вокзале на платформы, забитые какими-то тюками и ящиками, начинается бомбежка, прожектора, скрещиваясь, ищут немецкие самолеты, разноцветные цепочки трассирующих пуль полосуют мглу во всех направлениях, внезапно поезд начинает двигаться, мы с мамой на платформе, бабушка с отцом остаются на перроне, мама пытается соскочить на ходу, на миг забыв про меня, кто-то силой удерживает ее; посреди ночи состав останавливается в степи, люди движутся по насыпи, вдруг слышим голос отца, окликает нас по имени, они догнали следующим составом; потом – Кучурганы, Вознесенск, Знаменка, Ясиноватая, и каждая из этих станций врзается мне в память ночными бомбардировками, метанием прожекторов, желанием бежать куда глаза глядят и полной оцепенелостью, а Ясиноватая, которую проезжаем еще засветло, грудями разорванных тюков и разбросанных вдоль насыпи вещей – туфель, платьев, сумочек, простынь: состав, шедший до нас, разбомбили. Только ближе к Батайску мы выходим из полосы бомбежек...

Эшелон отдыхает в ночной степи под необычайно широким небом, усыпанным звездами, и по краю этого неба, от горизонта к горизонту протянулась беззвучная радуга трассирующих снарядов, множеством разноцветных линий летящих в обе стороны, безмолвная канонада. На рассвете широкая, во весь горизонт, алая заря освежает нам лица, состав двигается с места, я даже оживляюсь, начинаю петь, чем вконец пленяю мужика, который в одиночку везет на соседней с нами платформе сотни тюков с мануфактурой, мы же едем, как оказывается, на ящиках с типографским шрифтом, с нами несколько солдат-зенитчиков, зенитный пулемет, торчащий стволом в небо; солдатики сбрасывают каски, гимнастерки, растягиваются на шрифте – загорать. Мужичок с мануфактурой соблазняет всякими вкусными вещами, уговаривает родителей отдать меня, он богато живет в Батайске; на одной из стоянок в степи, когда все бегут по малой нужде, женщины в одну сторону, мужчины в

другую, эшелон вдруг начинает двигаться, бабушка беспомощно остается на насыпи, в глазах у мамы ужас, отец с мужиком быстро прыгивают и буквально забрасывают бабушку на платформу, но все же родители относятся к нему настороженно.

Неисповедимы пути войны: на станции Миллерово сгружаемся, неожиданно встречаемся с семьями двух бабушкиных племянников, одного постарше, глухого, шумного Левы и потому с вечно оторопелым выражением лица, с женой его Леей и сыном Рувой, другого помладше, Моисея Трогуна с женой и двумя дочками, Лией и маленькой красавицей Хоналэ, страдающей падучей, печать ранней смерти лежит на ее ангельском лице; всем табором добираемся до села Макеевки, нас вселяют в один дом, где шум и бестолковщина не прекращаются с утра до ночи; странно врезана в мое сознание огромная комната с печью, с которой выглядывают печально-прекрасные глаза маленькой Хоналэ (она умрет через несколько месяцев в дороге, когда пути наших семей разойдутся), а внизу идет постоянная перебранка между глухим Левой и моей бабушкой, он цепляется к ней по каждому поводу, его нельзя обуздать, собственная его жена махнула на него рукой, только отец пытается ему объяснить, рывкает в аппарат, который Лева носит в ухе, но если ему не выгодно, он делает вид, что и вовсе ничего не слышит. Давясь про себя от смеха, я убегаю в школу, в первый класс, там у меня свои проблемы: мы выводим палочки, а я от рождения левша, лихо левой вывожу палочки, но лишь увижу, учительница приближается, быстро перехватываю ручку правой. Дома бабушка доверительно жалуется мне, объясняя, почему Лева ее ненавидит: она ведь чуть не-дослышивала, и молодой ее племянничек Лева вечно ее высмеивал, а она возьми да скажи однажды: "Ой, Левы, дыст верын тойб ви а дрик" ⁷, что и случилось после того, как его продуло в поезде, так он ей этого до сих пор простить не может. Помню чудный осенний день, полный солнца, отец и мама берут меня с собой на сепараторный завод, где они работают, какие-то добрые дяди без конца подсовывают мне куски воска с медом из ульев, как они называют, "цельника", и все доливают мне в кружку парное молоко, а после вдобавок дают домой полное ведро молока и большую миску с кусками "цельника", мы устраиваем всем табором пир, даже Лева, присмиривший, терпеливо ждет, когда ему нальют молока и дадут "цельника", но лучшие куски я подсовываю Хоналэ, и она так благодарно улыбается одними губами и осторожно прикасается к еде.

А немцы уже под Ростовом. Время убираться. Отец относит ковер председателю колхоза, нас устраивают на телегу, опять наверху восседает бабушка, я с боку припека, а отец и мать гонят скот, долгие недели мы идем через степи, лица наши темнеют и обветриваются, как у настоящих степняков, мы спим под телегой, еще до зари умываемся водой из ледяного ведра, бегаем вокруг телеги, потому что уже близится зима, ранние заморозки прохватывают травы, в полдень не знаем, куда деться от жары, а однажды просыпаемся в белой постели, валом валит снег. Скот куда-то загоняют, нас пересаживают на грузовики, крытые брезентом, холод усиливается; от станицы Серебряково мы едем в сплошной метели, днем белая темень, водители с трудом находят дорогу, так мы добираемся до Дона, через который ведет мост на плаву, бревна покачиваются в дымящейся замерзающей воде; в щели брезента я вижу далекий низкий берег, стелющийся густо-белый туман, под которым, переваливаясь по бревнам моста, гуськом ползут машины, какие-то усатые мужики в тулупах и ушанках машут флажками, холод пробирает до костей; оцепенелые, мы жмемся друг к другу; машины буксуют на подъеме, отец прыгивает на помощь шоферам, один из них в благодарность берет меня с отцом и еще одним мальчишкой Меиром в кабину; метель усиливается, мы едем в сплошной тьме, пока не залетаем в кювет; нас четверо, двое взрослых и двое малышей: ощущение полной безнадежности и лихорадочной жажды спасения заставляет нас идти по ветру, отец крепко держит меня за руку, пытается подбодрить, а я все проваливаюсь то в

⁷ идиш: "Ой, Лева, станешь ты глухим, как Ёревно"...

сугроб, то в какую-то оцепенелую дрему, хотя ноги продолжают двигаться и слезы беззвучно продолжают течь, я изо всех сил стараюсь не подвести отца, мне жарко в шубке, поверх которой клеенчатый плащ-накидка с капюшоном и прорезями для рук, мне так жалко себя, я чувствую, что вот-вот свалюсь, и тут – огни – кирпичный заводик, и мы вваливаемся, не испытывая никакой радости, ничего не желая есть и, уже засыпая, я чувствую, как отец раздевает меня и как слезы все еще продолжают литься...

Утром будит меня Меир, подвижный, как ртуть, малый; отец с водителем ушли в поселок искать остальных, а он требует, чтоб я с ним играл, дергает, щиплет, прыгает, пока не опрокидывает крынку молока. Нас выгоняют из дому в огромный деревянный барак, где уйма беженцев, лица у всех изможденные, ревет девочка, мать дает ей пару тумачков, на мать набрасывается с укором милиционер, мол, нельзя бить ребенка, выхожу наружу, вглядываюсь в убегающую вдаль накатанную среди высоких сугробов дорогу. "Малыш, кликни милиционера", – слышу голос сзади, оборачиваюсь, надо мной – роскошный казак с красными лампасами вдоль синих штанов, убегающими в сапоги, в кубанке, с шапкой на боку, винтовой через плечо, верхом на коне, усы вразлет. Не чуя под собой ног, бегу за милиционером...

В станице Серафимович останавливаемся на пару дней в одном из добротных каменных домов под железной, покрашенной в зеленый цвет крышей; мама с отцом в бегах, бабушка почти весь день спит в горенке, я слоняюсь без дела по дому, осторожно заглядываю во все углы, почтительно слежу за хозяйкой, высокой костлявой с правильными чертами лица молодой казачкой. У нее длинные черные косы, но она прячет их под цветастый платок, с утра сидит за прялкой, диковинным сооружением, которое я вижу впервые, потом печет блины, ловко подбрасывая их на сковородке, так, что они переворачиваются в воздухе; молча, не роняя лишних слов, угощает нас с бабушкой блинами, налив меду в блюдце, затем почему-то моет голову, для чего посреди столовой ставит на табурет большую миску, а в ней – маленькую с горячей водой, распускает свои длинные черные волосы; я слежу за всем этим, не отрывая глаз и, вероятно, не закрывая рта: мне все это в диковинку...

Опять мы трясемся на грузовиках, в стужу и снег, так и въезжаем в район Поволжья, где жили высланные в начале войны немцы-переселенцы. Вдали, за оврагом показывается село, скудное, заброшенное, с таким забвенным названием – Норка (потом его переименовывают в более звучное – Некрасове), место нашего проживания. Разводят нас по домам, которые при немцах, рачительных хозяевах, были в отличном состоянии, но без присмотра обветшали: крыша течет, стены мокнут, покрываясь плесенью, в дверях и окнах щели; лавина впечатлений сбивает меня с ног: в доме нет плиты, нечто, напоминающее плиту, служит одновременно и печью, в которую вмурованы котлы, впервые вижу стены, обклеенные цветными шпалерами, порядком облезшими. Нас попеременно терзают то голод и ледяная стужа, то голод и невероятная распутица: снег поверху бел и целен, а в глубине – сплошная жижа, проваливаясь, приходишь домой насквозь мокрый, все сушат одежды, в доме сплошной чад, я сижу дома, мне не в чем идти в школу, но я вроде бы и не очень расстраиваюсь, приходит отец, как обычно с новостями, хорошими и плохими: немцев, значит, разгромили под Москвой, а он уходит на фронт, вот, повестка. "Никуда ты не пойдешь", – вдруг решительно говорит мама. "Ты что, в своем уме?" – говорит отец. Как-то незаметно возникают соседи, бутылка крепкого, начинаются проводы, а с потолка течет, каждая струйка падает в отдельно подставленную под нее миску или жестяную кружку, а то и просто банку, и под звонкий аккомпанемент падающих струй, этакую своеобразную водяную арфу, провожают отца моего, утонченного интеллигента, говорящего на английском и французском так же свободно, как и на русском, ныне огрубевшего колхозника, работающего то на скотном дворе, то на молотилке, знакомые люди, провожают на фронт, поют какие-то глупые, забубенные, но для них чем-то дорогие песни, и долго еще в ночи, просыпаясь, я слышу звон падающих струй, голос отца, рассказывающий анекдоты, добросовестный смех провожающих.

6

Мама внезапно вскакивает среди ночи, разбудив меня. Пытается куда-то бежать. Негромко говорю: "Ничего не случилось, мама, ложись". Ей и раньше по ночам снились кошмары, но с той ночи, как она потеряла хлебные карточки, эти внезапные пробуждения участились. Мой голос действует на нее успокаивающе, потому я и перешел спать в столовую, к ней. Бабушка храпит в спальне, утром опять будет жаловаться, что всю ночь не сомкнула глаз.

Печь совсем остыла. Холод разгуливает по дому. Я уже не усну до утра, я думаю об отце.

В феврале будет пять лет, как его нет в живых. Все это время память о нем во мне словно бы зачленела, хотя вот уже три года, как я живу в доме, где все напоминает о нем, хожу по переулку, по которому столько раз мы ходили вместе с ним; он повсюду таскал меня с собой, даже туда, куда, по мнению мамы, и не следовало, например, на похороны деда Шлойме или к трупу убитого в парке железногвардейца, он позволял мне бегать с мальчишками на поле с окопами или к берегу Днестра, и вечно после этого со мной что-то случалось: после похорон упал в обморок, после беготни по полю свалился в окоп; опять, как всегда, мама и бабушка оказывались правы, устраивали ему сцены, но он обычно быстро ставил их на место, показывая характер, они спешно ретировались. Со мной же он был неизменно весел, не возвращался из города домой без игрушки, да еще и сам из чурбаков ловко вырезал самолеты, машины, всаживая в них вырезанные им из цинка фигурки людей.

Изучая юриспруденцию в университете, во французском городе Гренобле, он подрабатывал искусным вырезанием по дереву, это было для него не просто ремеслом, а истинным увлечением и искусством, но, женившись и уйдя в семейные заботы, он почти перестал этим заниматься и только для меня продолжал вырезать игрушки, отдавая этому все свободное время. В отличие от братьев своих и сестер, шумно чмокающих своих детей и подбрасывающих их в воздух, был со мной сдержан, редко целовал, только гладил по голове.

И вот, на днях, когда мама, обуянная страхом перед высылкой (в юности она занималась гимнастикой в еврейской спортивной школе "Маккаби", втемяшилось ей в голову, что за это могут обвинить ее в сионизме, посадить не посадят, а выслать могут), в очередной раз пересматривала старые фото, на предмет изъятия и сжигания открыток с кинозвездами начала века, такими, как Рудольф Валентине, Грета Гарбо, обнаружился снимок, присланный ей отцом еще до замужества из Франции. Среди голода, оцепенелости и стужи странным прекрасным временем веяло от снимка, и хотя я молодым таким и загадочным никогда отца не видел, что-то жаркое толкнулось у меня в груди, выведя из состояния оцепенелости, ком подкатил к горлу, я отошел от стола и заплакал.

Снимок этот на другой день я показал товарищу моему по классу, живущему недалеко, на самом берегу Днестра, Андрею, судьба которого, несмотря на то, что он был старше меня всего на год, была весьма необычной: отец его, родом из Казани, еще при последнем русском царе был летчиком, а их тогда вообще можно было пересчитать по пальцам; когда же большевики пришли к власти, помешав ему получить дворянский титул, он перелетел на самолете в Польшу, оставив семью; откуда его интернировали во Францию; там он встретил русскую девушку намного младше его, тоже интернированную, из Бессарабии, женился, они поселились в Гренобле, где и родился Андрей; работая на заводах Пикари-Пикте, отец помогал во время войны партизанам и в сорок шестом, когда большевики объявили, что прощают всем, кто в двадцатые годы бежал, вместе с сотнями других русских семей, страдающих ностальгией, вернулся в Россию, приехал в наш город к двум теткам жены, Катерине и

Александр, аристократкам, потерявшим все имущество и привилегии, но не лоск, старым девам, живущим рядом с нами, на берегу Днестра.

Андрей, тихий интеллигентный очкарик с торчащими во все стороны непокорными вихрами волос, отличный рисовальщик, разглядывая снимок, на котором видна была лодка, еще не отчалившая от берега, и в ней сидело двое молодых людей, а отец стоял между ними, высокий, худощавый, в элегантном костюме, галстук, котелке, с тросточкой, уверенный в себе, с насмешливым, но все же приветливым выражением лица, на фоне дальнего города и гор, – отвел меня на перемене в сторону и стал описывать Гренобль. Мы присели на корточки, не обращая внимания на беготню и толкотню, которая бывает на переменах, я даже отдал, не препираясь, часть своего скудного пирожка с картошкой, который нам иногда выдавали в школе, старшекласснику, вечно голодному, с испитым лицом, Андрею Кичаку, знающему мою жалостливость и выклянчивающему любую крошку (для меня это через всю жизнь образ предельно голодного человека – худющего, как скелет, длинного, в два раза выше меня подростка, со страдальческим выражением лица преследующего меня днем и ночью), чтобы не мешал нам с Андреем, и на несколько минут уплыл из этого скудного, голодного, обмызганного окружения в дальний город среди высоких синих гор, старый, студенческий, омываемый альпийскими ветрами и рекой Изар, волны которой и покачивают лодку на снимке; студенческая вольная братия превращает в сплошной балаган этот в общем-то уравновешенный спокойный город: то внезапно по центральной улице с ревом, гиком, гудением клаксонов и медных диковинных труб на сумасшедшей скорости проносятся невероятно размалеванный разваливающийся от древности автомобиль с открытым верхом, набитый полуголыми парнями и девицами, и, пока полиция опомнится, исчезает в горах, взбудоражив весь город; то устраивается невероятный заплыв, где побеждает не тот, кто приплывает первым, а кто подиковинней нарядится, ну, например, в плавках, галстук и котелке; особенно изобретательны художники: необходима, к примеру, для натуры живая лошадь, где ее взять; и однажды на одном из домов в центре появляется голая девица – переполох, конные полицейские мчатся галопом, привязывают коней у входа, бегут на крышу, конечно же никакой девицы не находят; а пока под шумок утаскивают одну из лошадей, более того, поднимают по лестнице на третий этаж, в студию; полиция в растерянное-ти: середь бела дня в центре города исчезла лошадь; через неделю звонят в полицию: неизвестно, как и откуда, но на третьем этаже оказалась лошадь, и бедный полицейский сам вынужден спускать ее вниз, и если вверх она еще как-то шла, вниз ее не спустишь никакой силой. "А однажды, – Андрей смущается, протирает очки платком, близоруко щурясь, тихо смеется, – какая-то принцесса, весьма почтенная, решила посетить университет, так знаешь, что студенты сделали?... На пути ее следования выставили из окон... хи-хи... голые зады..."

Веселый этот город, за тридевять земель, овеванный легендами, студенческая вольница, Гренобль, думаю я, и частью этой вольницы был мой отец, который, по рассказам матери его, бабушки Фримы, в молодости был ужасный выдумщик и шкодник, досаждал братьям, а особенно сестрам, и обычно выходил сухим из воды, потому что был любимчиком деда Шлойме, и какого черта вернулся, чтобы так рано уйти из жизни, хотя иначе бы я не появился на свет, ну ладно, ну понятно, но на кой ляд покинул Гренобль отец Андрея, чтобы приехать в эту гибель и разор, человек не первой молодости с весьма жестким и требовательным характером бывшего выпускника духовной семинарии: до того как стать летчиком, был он семинаристом, и нечаянно узнав, что я читаю молитвы на древнееврейском, не давал Андрею проходу: "Видишь, оболтус ты этакий, видишь..."

Полный впечатлений от рассказов Андрея, я тащу его к нам домой, мы роемся в фотокарточках, я нахожу небольшой снимок отца, я хочу, чтобы Андрей увеличил его, сделал портрет, сначала тушью, потом, быть может, и в красках, это единственный снимок отца, такой, каким я знал его и любил, еще я помню его портрет, висевший в доме деда Шлойме,

там он, кажется, десятилетний, и мама говорит правду, что я похож на тот портрет, как две капли воды; сестры отца тетя Роза и тетя Гитя, добродушные и невероятно толстые, за которых дедушка Шлойме отдал приличное приданое, чтобы выдать их замуж, больше всего терпели от отца; не менее добродушные его братья, средний, огромный, толстый и сентиментальный, рано полысевший Рувин и младший, худой Шая не очень-то горели жаждой учиться, и дедушка, владелец мануфактурного дела, посылал их с товарами на ярмарки, и только отец, более всех похожий на деда характером, внешним видом, был надеждой семьи: сначала поехал на медицинский в Яссы, но оттуда фашиствующие румынские студенты выгнали дубинками всех евреев; и целая группа уехала в Гренобль изучать адвокатуру. При всей своей репутации шкодника отец был деликатен, сдержан, а временами и застенчив, чем походил на деда Шлойме, которого бабушка Фрима, главная управительница в семье посылала к должникам, а он, покружив по городу, возвращался и говорил, что там никого нет дома. Кроме этой существовала еще семейная легенда, связанная с отцом: будто бы в детстве он был веселым неугомонным мальчиком, но однажды поел винограда и запил его молоком, после чего у него чуть не случился заворот кишок, его с трудом выходили, и вот после этого он стал ужасным меланхоликом, часто, как вспоминает мама, говорил с ней о смерти, был очень замкнут, не любил танцевать и вообще избегал компаний.

Я же помню отца всегда веселым, остроумным, изобретательным. Высокий, черноволосый, голубоглазый, смуглый, с тонкими чертами лица, припухлыми, мягко изгибающимися губами, он всегда привлекал внимание женщин (даже я, малец, это замечал), а если уже и попадал в компанию, то всегда был в центре внимания. Отчетливо помню его лицо вполоборота в полутемном зале кинотеатра Кор донского, мы просмотрели с ним все серии комиков Стана и Брана, Пата и Паташона, он смеялся до слез, взхлеб, так, что другие взрослые, приходившие с детьми, с укоризной на него поглядывали, но он не обращал на них внимания; иногда они шли в кино с мамой, которая настаивала, чтобы я остался дома, но в конце концов он добивался своего, так мы втроем смотрели "Дубровского", "Сорочинскую ярмарку": некоторые кадры и мелодии из этих фильмов врезались в детскую память, жадную до впечатлений, навсегда.

Отец, несомненно, был человеком незаурядным, натурой тонкой, ранимой, воспринимающей жизнь и мир как бы внутренним слухом, в себя; в таких натурах детская острота интуиции не ослабевает с годами, вот почему моя компания никогда ему не надоедала, в отличие от взрослых компаний, где надо было не жить по-детски, а играть по-взрослому в танцы, флирт, выслушивать глупости; он вообще предпочитал узкий проверенный круг знакомых, в отличие от мамы, в которой жажда жизни перехлестывала через край, требовала веселья, шума, музыки и танцев, новых и новых знакомств, свежих впечатлений; несмотря на полноту, она была быстрой в движении, в ходьбе словно бы летящей впереди себя самой, сила так рвалась из нее, что она вечно за что-то цеплялась, падала, лбом выдавливала стекла, ломала каблуки, роняла и била посуду, любила сладко и поздно поспать, особенно в юности, обычно валилась на свой разборный топчан в столовой, не глядя, и однажды раздавила мандину старшего брата Су-ни, чего он долго ей не мог простить, и, как уверяет мама, более любимый бабушкой, вошел с той в коалицию, начал ее изводить, не давая спать попоздней, вытаскивая из-под нее подушку, а то и ножки топчана, пока ей это не надоело, и однажды, при бабушке, она загнала брата, тренера по гимнастике в "Маккаби", в угол между стеной и буфетом и пустила ему кровь из носа под истерическое кудахтанье испуганной бабушки. Все знакомые тети, дяди, родственники звали ее – "ды вылды цоп"⁸...

Отец любил ее за эту необузданность и дикость. Родители его были людьми богатыми и, конечно же, не желали в невестки девушку из бедной семьи, надеясь уж за такого

⁸ идиш: "Эта дикая коза".

сына получить солидное приданное; дед Шлойме предпочитал не вмешиваться, но властная бабушка Фрима прижала к стене своего сынка, за что он, не менее упрямый, разругался с ней вдрызг и настоял на своем, заявив, что если услышит еще одно слово, вообще порвет с семьей всякие отношения. Но еще и потом, намного позднее, когда мама заболела летучим ревматизмом и была в тяжелом состоянии, дядя Хаим Мордкович, муж тети Розы, любитель поесть и поиграть в карты, пришедший проведать больную, сказал как бы в шутку: "Стоит тебе, Зиночка, закрыть один глаз, как Исаак возьмет миллионы".

В тот вечер, обнаружив снимок, мама долго рассказывала мне про отца, платком вытирая слезы, с какой-то мечтательной печалью в голосе, а заключила неожиданно: "Да, твой папа был нелегкий человек". "Потому ты, наверно, и любила его", – сказал я, после чего она поглядела на меня с удивлением, решив, что больше со мной не о чем говорить, я уже сам, быть может, получше ее разберусь во всех тонкостях.

Благодаря своему характеру мама гораздо легче приспосабливалась к любой работе, будь то ткацкая фабрика, скотный двор, уборка хлеба или уход за быками. Отец же, хоть и старался и виду не подавал, выглядел он везде белой вороной, пытался вести себя поглубже и сам же страдал от этого, а, став сторожем при молотилке, сник. Поэтому с получением повестки на фронт, как бы прибодрился. В ту ночь проводов я впервые после долгого периода вновь услышал его звонкий голос, рассказывающий анекдоты.

Он писал нам часто письма, он был доволен, что взяли его в артиллерию и, поняв, что он это дело знает, присвоили тут же звание.

Они уходили в Сталинград. А тем временем в селе нашем Норка жизнь продолжалась.

То оно казалось совершенно пустым, забывшимся в дреме знойного полдня, лишенным всякой охраны: только один-единственный милиционер, долговязый, с лошадиным лицом и старым наганом в огромной кобуре на боку, возникал на пустынных улицах, как сомнамбула, и тут же куда-то исчезал; мужиков в селе кроме нескольких эвакуированных, председателя колхоза и лоснящегося довольством кладовщика не было; в полдень все бабы находились далеко в поле, и я шел босиком по стерне несколько километров, относя маме еду; в первый раз у меня опухли щиколотки ног, но весьма скоро я уже бойко шагал, уминая стерню, любуясь облаками, следя за коршунами, ощущая до сладкого головокружения широту степи, вдыхая ее пробудившиеся от полднего жара запахи. В периоды такого затишья, стоило эвакуированному дяде Грише крикнуть: "Немецкий парашютист", как село, изнемогавшее от скуки, мгновенно оживало, на окраину бежали старухи с вилами, старики с топорами, и откуда их столько набиралось, искали милиционера, наконец-то и он появлялся, заспанный, путаясь в кобуре, вытаскивал свой наган, и все, затаив дыхание, следили за неким предметом, медленно и высоко летящим с горизонта, чем-то напоминающим парашют; предмет приближался, плыл над селом, оказывался полураздувшимся аэростатом, очевидно сорванным с троса, так он и уплывал вдаль к разочарованию села.

То оно внезапно начинало бурлить: через село шли войска на Сталинград, офицеры селились по домам, солдаты разбивали палатки, все молодые, стриженные, веселые, беззаботно не подозревающие об ожидающей их гибели, они вели дружбу с нами, мальчишками, и однажды, подозвав меня, дали полный ковш, в котором на дне еще был мед в два пальца, залитый водой, и я выдул его, не отрываясь и вызвав у них всеобщее одобрение. У нас в доме поселился молодой высокий лейтенант из города Элиста и вдруг заболел мышинным тифом, весь горел и бредил; мама и бабушка выходили его, войска давно ушли, а он еще пролежал у нас дней десять. Удивительный это был человек: на фронт с собой он таскал целый чемодан книг, и в благодарность за уход подарил нам стопку, по сути, первую мою библиотеку. Эти книги я почти знал наизусть: "Тайну двух океанов" Адамова, "Сквозь дым костров" Валерия Язвицкого, рассказы Ицхака-Либуша Переца и Мамина-Сибирика. Я стал признанным рассказчиком среди мальчишек, часто в жаркий полдень где-нибудь под кустами пересказывая

им эти книги, а над нами, высоко в небе, так, что едва было слышно их гнусавое гудение, немецкие "Юнкерсы" (мы узнавали их по очертанию) летели бомбить Саратов, и утром из-за горизонта через все небо тянулись длинные хвосты черного дыма.

Первый день, когда я пошел в школу, запомнился двумя событиями, одним, пожалуй, не менее страшным, чем то, давнее, когда я провалился в окоп: я уже возвращался из школы домой, когда меня вдруг окружили взрослые мальчики, года на два-три старше меня, я знал, это были ленинградские ребята из детдома, испитые, бледные от голода, жестокие, они требовали отдать им еду, которая у меня есть в ранце; я клялся, что у меня ничего нет, вывалил все наружу, плакал, просил отпустить меня, предлагал тетради, перышки, они были неумолимы, стояли плечом к плечу вокруг меня, их ненависть просто меня испепеляла; я уже потерял всякую надежду, сел в пыль, размазывал слезы по лицу, как вдруг откуда-то вынырнул малый одного с ними возраста, быстро их растолкал, одному дал по шее, другому шелобан по лбу, третьему – под зад, и они вяло, не сопротивляясь, в каком-то голодном оцепенении и бессилии рассыпались. Малого звали Кулиш, вернее, это была кличка, имени настоящего я не знал, и знакомство с ним стало вторым важным событием того дня.

Несмотря на разницу возраста, мы стали друзьями "не разлей вода". Этот ловкий и сильный малый был грозой всех мальчишек села, но ко мне относился даже с какой-то нежностью, во многом был моим первым учителем в жизни, но и сам с жадностью выслушивал мои вольные пересказы книг, восхищенно и не сильно давал мне шелобан по лбу, приговаривая: "Башкастый ты, тютя..."

В нашем классе была миловидная тихая девочка по фамилии Кондакова, и вдруг ни с того, ни с сего все стали нас с ней дразнить: "Жених и невеста тили-тили тесто". Я никак не мог взять в толк, чего они от меня хотят, пожаловался Кулишу. "А ты с ней, тютя, не того?" – спросил он меня. "Чего того?" "Э-э, брат, совсем ты, оказывается, есть тютя", – озадаченно протянул он, – слушай-ка..." Мы пошли в бурьян, в любимый наш овражек, и там он попытался объяснить мне, каким образом я появился на этот свет. В общем-то я и сам не верил в сказки про аиста, но то, что он рассказал, заставило меня впасть в ярость, показалось мне оскорблением моей матери и вообще всего святого; в бессилии, зная, что Кулиш свалит меня одним мизинцем, я ругал его всеми словами, я прыгал вокруг него, орал, поносил его, катался в бурьяне, я был в каком-то бешеном припадке; Кулиш спокойно покусывал зубами травинку; когда же я, обессиленный, растянулся на траве, он только и сказал: "Ты и вправду тютя-тютя, тютя", – и покрутил пальцем у лба.

Кулиш научил меня драться: "Бей сразу в рубильник... Первый. Можешь даже не сильно, но чтобы юшка пошла. Он-то на своем рубильнике и замкнется, забудет с чего полез в драку". Как примерный ученик, я жажду тут же приложить свои знания. Особенно мечтаю отомстить тем ленинградским мальчишкам, которые меня так унизили.

После одной из наших игр "в войну", в которых Кулиш – неизменный командир, а я – неизменный его заместитель, возвращаюсь домой. Вижу издалека троих из той компании, обрадованно направляюсь к ним, на ходу примериваясь, куда кому дать по "пачке", как выражается Кулиш, но, странное дело, чем более к ним приближаюсь, тем они, вопреки закону перспективы, не увеличиваются, а уменьшаются: то ли страх в те минуты, когда они окружили меня, увеличивал их в моих глазах, то ли я догнал их ростом за эти месяцы. Увидев меня, они останавливаются, стоят, оцепенело набычив головы; им даже не надо притворяться, как те жуки, мёртвыми, они и есть дохляки. Подхожу вплотную. Они выше меня всего на полголовы. Думаю: ну дам по носу, который Кулиш называет "рубильником", и кровь-то не потечет, откуда ей быть, когда морят их в детдоме голодом, и ни отца, ни матери нет – заступиться за них, и никаких чувств у ребят этих нет, кроме, может, ненависти к нам за то, что у нас мамы, а у некоторых – и папы. Стоят, опустив головы, только один из них

бормочет: "Ну чего пристал, ну чего..." По-моему, они меня и не помнят. Тяжело вздохнув от неудовлетворенной мести, щелкаю по лбу бормочущего, расталкиваю их, иду дальше.

Вооружившись палками, заменяющими нам ружья, мы ведем войны в овраге, заросшем диким кустарником. Овраг верхним краем выходит на холм, к хатам, в одной из которых живет Кондакова. Однажды, в разгар нашего "боя" мы слышим всамделишный выстрел. В заброшенном нашем селе это равносильно Сталинградской битве, которая в эти дни в разгаре. Забыв, кто враг, кто друг, бросаемся к верхнему краю оврага. Мимо нас проходит трое незнакомых с пистолетами в руках, идут медленно, настороженно, и между ними какой-то угрюмый, заросший бородой до глаз мужик, от которого, несмотря на расстояние между нами, несет могильным запахом земли.

На следующее утро вся школа гудит от новостей: оказывается, отец Кондаковой дезертировал с фронта, скрывался в подполе. Деда Кондаковой, отца ее матери (он работал заготовщиком в райцентре Бальцер), подозревали в хищениях, два следователя тайно нагрянули с обыском, ничего не нашли, но, выходя из дома, один почувствовал, как доска от пола ходит под ногой, быстро нагнулся, поднял – под ней – провал, сунулся вниз, а оттуда – выстрел. Отпрянули следователи, глядят, человек сам из-под земли вылезает, заросший, как дикарь.

Бедную Кондакову мать все же заставила пойти в школу. Вокруг нее на перемене пляшет весь класс, дразня, измываясь, а она, бледная, востроносая, сидит, слезы не проронит. Прекращает шабаш учительница наша Марья Михайловна, заявив, что дети за отцов не отвечают, и всем нам должно быть стыдно за наше поведение. Особенно стыдно мне, ведь плясал со всеми, а в душе по-настоящему жалел ее, но боялся при всех проявить жалость.

Слухи же о страшной Сталинградской битве все ширятся, от отца нет вестей, мама не спит ночами, непрерывно слышится гул высоко летящих на Саратов немецких бомбардировщиков, мы прикручиваем пламя коптилки, сидим, притаив дыхание.

Однажды прибегает какая-то тетка из правления колхоза: "Мать-то где?" "Где, в поле, на уборке". "Далеко?" "Кажись, у совхоза 595". "Беги, малец, мать срочно вызывают в правление". "Так это ж далеко, семь километров, – пытаюсь лениво отбрехаться, – а шо случилось?" "Еще и ты тут, плюгавка, шо да шо, беги, кому сказала, вишь, сама запыхалась, с ног падаю..." Такая срочность в нашем селе явно говорит о чем-то необычном. Бросаю бабушке несколько слов на идиш, повергнув этим тетку в столбняк, подтягиваю портки, бегу. За окoliцей умеряю шаг: степь всегда меня околдовывает. Стоящие вдали, среди желтой стерни, темно-зеленые три дерева по ходу моего движения перемещаются, как живые, то расходясь, то выстраиваясь в затылок друг другу, высоко в жарком небе кружит коршун, выискивая добычу, а за краем дороги, на следующем перекате, уже голубеющем от дальности, колышутся в мареве хатенки и водонапорная башня совхоза "Пятьсот девяносто пять" (всю жизнь это число возникает у меня дальним образом села, таинственно-печальным измерением глубины времени моей жизни). Хатенки эти то исчезают, то возникают вновь, уже более приближенными, то совсем исчезают, и это для меня знак, что они совсем рядом, за бугром.

Увидев меня в такое неурочное время, мама уже издалека бросается навстречу, а услышав, что ее вызывают, говорит: "У меня с ночи нехорошие предчувствия". Назад мы уже едем на телеге, впряженной в пару быков, которыми мама ловко управляет при помощи палки и окриков "Цоб, цобэ".

Новость и вправду тревожная и ободряющая одновременно: отец ранен и лежит в госпитале, в Саратове. Тяжело ли, легко, никто сказать не может, главное, что жив, галдят в правлении, ты уж пешком доберешься до Красноармейска, километров сорок поди, дойдешь к вечеру, переночуешь, а там до Саратова и то меньше, тридцать с гаком, транспорт сейчас-то весь на уборке, может, попутная какая подвезет, ты лучше подивись на чудо, из Саратова дозвонились в нашу-то нору, это знак хороший, отправляйся с Богом...

Мама собирается в дорогу, наказывает мне, где получать продукты в колхозе, и растворяется за околицей села, на несколько дней влившись в ту особую породу странствующих по бескрайним российским весям людей, число которых неимоверно увеличилось в годы войны: их ловят, проверяют, беспаспортных сажают на некоторое время, но выйдя на свободу, они снова пускаются странничать: вольные дали манят, невзирая на погоду, – сжигающее солнце или ледяную метель, – это род наркотической тяги, и нередко находят их замерзшими или скончавшимися от теплового удара.

В те полтора месяца, которые мы с бабушкой прожили без мамы, я часто торчал у околицы, за которой исчезла мама, с тоской приглядываясь к любой фигуре, издалека приближающейся к селу.

А однажды застываю на пороге: вижу маму и незнакомого мужчину, в котором в следующий миг узнаю отца. Он худ, бледен, и потому кажется более высоким, но несмотря на худобу и слабость в ногах, гуляет по двору, опираясь на мое плечо, жадно вглядываясь в даль. Это такая радость, когда мы четвером, как в давние добрые времена, садимся вокруг стола, щербатого, колченогого, за скудный, и тем не менее такой вкусный обед. По вечерам, при слабом свете коптилки, отец, лихорадочно блестя взглядом, оцепенело уставившимся в пламя, веселым голосом, как бы пытаясь выговориться, рассказывает фронтовые истории, от которых волосы становятся дыбом. Много для меня, малого, остается непонятным. К примеру, все документы личного состава их артиллерийского полка, включая, заменяющие паспорта красноармейские книжки, хранились в штабе полка; их позиции у самого берега Волги подвергались непрерывным налетам, офицеры в батарею выбывали из строя так быстро, что в кратчайший срок отец уже командовал огневым взводом. Они до того привыкли к невероятному грохоту, что глохли, когда на короткий период устанавливалась тишина, они научились понимать друг друга при помощи знаков, а иногда, когда темень от дыма и копоти застилала полдень, наощупь знали, что делать, а рядом одним сплошным пожаром горел город Сталинград, которого, как ни странно, отец так и не видел, не было города, был какой-то шевелящийся хаос. Когда бомбардировка чуть утихала, и какая-то мысль посещала расплуженное, как медуза, сознание, первым было удивление: ты еще жив? Но удивление было слабое, ты равнодушно принимал это осенившее тебя открытие. А однажды бомбардировка достигла невероятной силы, разнесло все тягачи, снаряды кончились, осталась их горстка, вдобавок пришло сообщение, что разбомбили их штаб со всеми документами. Они с трудом выбрались из сплошного огня и, оказавшись в степи, шли куда глаза глядят, черные, заросшие, в обгорелых лохмотьях, босые, падая на осенние травы, переворачиваясь на спину, подолгу в оцепенении глядя в небо, не веря, что оно может быть таким безмятежно спокойным. Иногда казалось, что ты вообще уже не на этом свете, что взрывной волной тебя перенесло из мира адского грохота и огня в мир с тишиной, шелестом трав и ощущением голода, таким, вероятно, и должен быть рай. Пока не добрались до первого села. Удивление было взаимным. Жители с открытой враждебностью поглядывали на горстку оборванцев, голодных, страдающих от жажды, возникших из ниоткуда. И документов никаких. Бродяги же не верили своим глазам: вот же, живут в домах, едят, пьют, и в общем-то совсем недалеко от ада. Как старший, отец обычно шел на переговоры, доставал из некоего подобия кармана мою фотокарточку, обгоревшую по краям (она у меня и по сей день хранится), на которой я изображен в возрасте двух лет – этаким круглощекий карапуз, нос кнопкой, в костюмчике тирольца, зеленой шляпе с пером. И каждый раз отец заново с удивлением смотрел на этот осколок прежней, такой прекрасной жизни, в существование которой трудно поверить (как мне два дня назад, когда я увидел фотографию отца из Гренобля), показывал сельчанам, разъяснял, что с ними произошло, и тотчас же появлялись еда и питье. Фотокарточка действовала неотразимо, лучше любого документа. Так они шли от села к селу, пока их не арестовал патруль и не посадили их в камеру предварительного заключения до выяснения. Там

они помылись, отоспались, и даже поели. Сидели более десяти дней. Затем, выяснив все, их выпустили, отвезли в другую часть, переобмундировали, оформили новые документы и отправили опять в заваруху.

– Где же тебя ранило? – допытываюсь я.

– Э, – отец машет рукой, – пойдем-ка лучше выйдем...

– Мы идем вдвоем к околице села при свете звезд, садимся на краю оврага. Часами молчим, слушая пение сверчков.

– Это можно слушать всю жизнь, – говорит отец и вдруг заходится в кашле, платком прикрывая рот. Кашляет долго, не может отдышаться, и все успокаивает, то ли меня, то ли себя, – ничего, пройдет, пройдет...

По ночам он бредит со сна, тихо, постанывая, кричит: "Огонь... Горим...".

Его ранило в левый бок, сильно задело легкое. Все бабы поздравляют маму с возвращением мужа, да еще целого, с ногами и руками, а что до легкого, так до свадьбы сына заживет, а мама все время о чем-то тревожно перешептывается с бабушкой. Отец пошел работать счетоводом в правление, пока не поправится, у него планы на будущее: мама, находясь в Саратове, ходила с документами отца в коллегию адвокатов, те удивились, почему он раньше не обращался, да ему теперь, как фронтовику, говорили в коллегии, все дороги открыты, пусть только поправится, но он никак не прибавляет в весе, продолжает кашлять.

В одну из лунных ноябрьских ночей сорок второго мы, как всегда, идем с ним прогуляться до околицы села; садиться на траву уже нельзя, к ночи подмораживает; мы долго стоим, глядя на низко стоящий над горизонтом тревожно-красный диск луны, вдыхая свежий холодный воздух, отец не кашляет, тяжело, но с удовольствием дышит, а я рассказываю ему, как долго по ночам изучал силуэты на луне, и похожи они на двух борющихся мужчин, и что в такие ночи, мне кажется, лунный свет проникает даже в сны.

– Еще лунатиком станешь, – говорит отец.

– Это правда, что лунатик может подниматься по стенам, идти по краю крыш... И падает, когда его окликают?..

– Представляешь, какое счастье всю жизнь быть лунатиком, ходить по краю крыш... не таких, конечно, а высоких, острых... как в Гренобле...

В глухих заброшенных скифских степях в первый и в последний раз я слышу из уст отца имя этого прекрасного города его юности.

– Да, котик, – говорит отец, поглаживая меня по голове, – совсем плохи дела...

– В каком смысле?

– Ну... когда окликают с земли, ты падаешь и разбиваешься... часто и насмерть... Потом уже окликают Ангелы...

– А разве есть Ангелы?

– Для тех, кто в них верит, они есть...

На утро узнаю из перешептываний мамы с бабушкой, что у отца нашли палочки Коха: у него открытый туберкулезный процесс в легких. Отец тает на глазах, никогда я не видел его черты такими красивыми, отточенными. И все же он бодр, и совсем не кашляет, и продолжает ходить со мной на околицу села, рассказывать любимого своего Диккенса.

В январе сорок третьего отец ложится в больницу, сам отправляется туда с утра, когда я в школе, мама на скотном дворе. По вечерам мама плачет, проклиная собачью жизнь, говоря, кстати, что собачье мясо помогает при чахотке, ей бабы говорили о случаях излечения, надо только достать его, это мясо, сделать котлеты, иначе же его никто в рот не возьмет. Стоит мне кашлянуть, как она испуганно вздрагивает, щупает мой лоб. А тут еще бабушка обжигает правую руку от кисти до локтя, ее тоже кладут в больницу, и мы с мамой торчим там сутками. Больничные коридоры с покрытыми серой олифой стенами, окна палат с решетками

и марлей на форточках, ледяными ветками деревьев, словно бы прилепленными к стеклу, снятся мне по ночам. Тут же, у папиной постели, мы справляем мой день рождения.

– Тебе уже девять лет, котик, – говорит отец, осторожно выпрастывая бледную, как воск, руку из-под одеяла, с опаской касаясь моей головы. Я молча киваю, я не говорю ни слова, только пальцами задерживаю его руку на своей голове, горячую и сухую, словно бы, сам того не осознавая, принимаю на всю жизнь его молчаливое благословение.

– Мы еще погуляем у тебя на свадьбе, сынок, – деланно бодрым голосом говорит мама.

– Несомненно, – не менее бодро говорит отец, откидываясь в изнеможении на подушку.

В начале февраля бабушка возвращается домой, рука ее, запеленутая в бинты и тряпки, кажется раздувшимся младенцем. Стоят страшные морозы: на улице стягивает ноздри, приходится дышать в башлык или шарф, вода, выплеснутая из кружки, замерзает на лету. При таком морозе воздух дымит белым туманом. Вношу с собой в палату холод, все больные только при моем виде ежатся, накрываются одеялами, улыбаются беспомощно и завистливо.

Принеси мне "Записки Пиквикского клуба" Диккенса из библиотеки, – говорит отец.

Непрененно, – говорю я. Но книга, оказывается, на руках. На другой день меня не пускают в палату: обход. Мама уходит в больницу на ночь. С утра поземка скребет по земле, звук двери, открываемой в сенях, разрывает слух скрежетом, вода в ведрах с ночи замерзла, приходится разбивать лед, кусками греть в казанке. Прямо из поземки, тихая, как привидение, возникает мама, нездешняя улыбка блуждает на ее губах; совсем слабым, но таким певучим голосом говорит бабушке:

Момы, Исакалэ из гешторбн...⁹

И в этот миг все во мне заледеневаает. Дальнейшее длится, как в ледяном полусне: где-то, на кладбище, никак не могут разбить замерзшую, твердую, как камень, землю, решают разрыть относительно свежую чью-то могилу, которую намеренно копали глубже, чтобы новый гроб поставить на старый; мама ведет меня по каким-то с трудом узнаваемым переулкам; на санях стоит узкий, неожиданно длинный гроб, уже заколоченный, мама садится рядом с возчиком, а я за неимением места – на край гроба, скользим в белом тумане, вокруг в полдень ни души, облегло нас вплотную медленно шевелящееся ледяное пространство, и так как я мертвым отца не видел, я думаю, что вот мы должны куда-то довести этот деревянный ларь, постараться в дороге не замерзнуть и вернуться, и я тут же побегу в библиотеку, где мне обещали "Записки Пиквикского клуба", ведь папа ждет-не дождет этой книги в больнице.

Из клубящейся стужи возникают два закутанных в сотни лохмотьев силуэта с некими подобьями киров в руках. Я стою над краем ямы, в глубине которой поблескивает, обледеневая на глазах, крышка нижнего гроба. Опускают, боясь оскользнуться, чертыхаясь на погоду, в бога, мать и крест, хотя вокруг торчат лишь одни палки с дощечками, и это, по сути, последние слова отпевания, замерзающие в воздухе на лету. Гляжу на дощечку с именем отца, датами рождения и смерти (1904 – 27.2.43), выведенными чернильным карандашом и все думаю о книге, которую должен отнести отцу.

И никакого оклика.

Разве голос Ангела может дойти сквозь такую смертную стужу?

7

У мамы и бабушки утром постоянный ритуал: проснувшись, рассказывают друг другу, что кому снилось. Обычно сплю, накрывшись с головой, только нос торчит наружу, но все слышу из-под одеяла, и мне чудится, что, вот же, два главных героя моего мира сновиде-

⁹ идиш: "Мама, Исак умер..."

ний, которые только что вели разговоры в лабиринтах сна, вошли в реальность, не прерывая этого разговора, только голоса их, бесшумные во сне, вдруг обрели звучание, один певучий, другой чуть хрипловатый, и осознав это, я как бы, пусть не до конца, нащупал тайное место соединения мира реального и мира сновидений.

Мне же среди множества, снится один постоянный печальный (через всю жизнь) сон: я сижу в темном зале театра; неважно, что происходит на сцене, гам и вовсе какое-то белое световое пятно, но страстно хочется увидеть, кто сидит рядом со мной, вокруг: я знаю, я чувствую, что это знакомые, дорогие мне люди, которых унесло потоками жизни во все эти годы, а вот они рядом, дышат, скрипят стульями, касаются меня, но я не могу их видеть и знаю, что так и не увижу их, и всю жизнь они будут со мной рядом, вплотную, так, что я буду слышать их дыхание, ощущать их вечное присутствие, теплоту такого близкого их существования, даже если их нет в живых, но не увижу; вокруг этого зала детали сна весьма подробны, если исчезает какая-либо вещь или человек, тут же, их заменяя, возникает иная вещь или личность, это словно бы некий закон сохранения цельности сна, только провальная темнота зала неподвластна этому закону, это дорогая мне и недостижимая бездна, и часто в каких-то помещениях, примыкающих к этой бездне возникает образ отца, и объемлющий его, как облако, неизменный сюжет: он пропал без вести, и вдруг, через много лет, объявляется, и совсем он не изменился, вечно молодой, и все существо мое исходит такой радостью, что я просыпаюсь с тревожно бьющимся сердцем в предчувствии бедствий.

Иногда во сне ухает филин, птица тьмы, мгновенно возникают нездешние, такие печально-прекрасные глаза маленькой Хоналэ, я просыпаюсь, слыша, как в ночи кричит филин, обливаюсь холодным потом: только бы не сидел на нашем дымоходе, это знак, что кому-то предстоит умереть; облегченно вздыхаю: филин кричит с каких-то близлежащих крыш, кажется, в самом воздухе носятся знаки бедствий, которые на нас обрушатся, вымысленный страх ужасней истинного.

В эти беспощадно утренние часы ледяной стужи моего четырнадцатилетия невозможно поверить, что вот-вот наступит весна, цветущий май, и опять недоедание, которое заслонит такое дальнее, но напрямую касающееся нас событие: провозглашение государства Израиль, затем июнь, когда растворятся хляби небесные, ливень бурными потоками будет нестись по руслам улиц в Днестр, а в Кишиневе затопит нижнюю часть города, и будут плыть из окон бедноты убогие столы, стулья, лохмотья, барахло, мертвые коровы со вздутыми животами, доски заборов, крыши развалюх (мы в это время были в Кишиневе на олимпиаде, струнным оркестром на голодный желудок лихо исполняли сюиту, славящую нашу счастливую жизнь); в сентябре Илья Эренбург в газете "Правда" с пеной у рта будет доказывать, что мы, евреи, как нация не существуем, и что нет ничего зlostнее на свете, чем сионизм, а в ноябре разгонят "Еврейский антифашистский комитет" и пошлют в концлагеря еврейских артистов, писателей, деятелей искусств. Бедствиями отравлен воздух, которым дышим. Но главный страх: не умереть от голода.

Сводящими с ума голодными сагами разворачиваются страницы об осажденном Иерусалиме в Библии, которую мы читаем с ребе Пустильником, песни бабушки, эти слова, от которых наворачиваются слезы:

*Взой кенын мир шпилен мит ынзере хэнт
Ынзере ейлике лидер,
вэн Ирушалаим ис фарбрент
ин ын гулыс зэнын ынзере бридер...*¹⁰

¹⁰ идиш: Как мы можем играть на струнах руками нашими наши священные песни, если Иерусалим сожжени в рассеянии наши братья...

Но даже это все тускнеет перед рассказами ленинградцев, маминых знакомых по работе в банке (мама работает секретарем-машинисткой, получая гроши), которые, как ни странно, приехали спасаться от голода к нам. Они пережили блокаду. Тонкие летучие иллюстрации Петербурга из книг Гоголя, бледные, влекущие размытой глубиной акварели стоят перед моими глазами под аккомпанемент повествующих голосов: великий, призрачный, как химера, город, полный лихорадящей красоты, выпадает в кошмарную реальность, где апокалиптические видения осады Иерусалима с трупами, валяющимися на улицах, матерями, поедающими детей своих, стали самой будничной картиной блокады: трупы валялись на улицах бревнами, люди сходили с ума от голода, выбрасывались из окон, десятки, сотни тысяч, и все на глазах равнодушной, цепенеющей в холоде страны; страшно глядеть на цифры, высеченные в камне на Пискаревском кладбище: во много-много раз больше умерло от голода, чем от немецких снарядов. А я слушаю и вспоминаю единственное кладбище, с которым связана память, единственную могилу, на которой так и не сумели поменять табличку с более прилично выведенной надписью, так и жжет-прожигает она мне память (через всю жизнь) кривыми буквами, начертанными чернильным карандашом.

Летом и осенью сорок третьего я часто хожу через кладбище, бездумно сижу у могилы, потом захожу в пустую, с выбитой дверью, загаженную церковь, под куполом которой мечутся напуганные моим появлением оружие галки. Мы перешли в другую хату, намного меньше первой, рядом с нами богатый дом и двор лоснящегося от самодовольства колхозного кладовщика, напротив – сельсовет, за углом – ткацкая фабрика, на которой мама теперь работает ткачихой, восемь часов сидит за станком, и снует в руках ее нить от челнока, и тянется ткущаяся на глазах белая ткань, бесконечно змеящийся саван.

От мамы иду через кладбище на мельницу, которой управляет Клавдия Михайловна: она подружилась с мамой, помогает нам продержаться, подбрасывая время от времени немного муки. У Клавдии Михайловны взрослая дочь и чудесная овчарка с именем, похожим на таинственный звук охотничьего рога – "Рум"; "Ру-у-ум, Ру-у-ум", – кричим мы вдвоем с Галочкой, черноволосой девочкой, которая живет по соседству с мельницей: с ней мы "крутим любовь", обнимаемся и целуемся, прячась в кустах, куда и прибегает огромный Рум, добродушно обнюхивает нас; уже к вечеру, когда появляются звезды, я отправляюсь домой, опять через кладбище (это единственный путь в село), иду среди могил уже в темноте, не испытывая никакого страха, вижу выходящего из-за кустов мужчину: он приближается, идет рядом со мной, спрашивает, как меня зовут, есть ли у меня родители, я простодушно и с готовностью отвечаю, я чересчур голоден и равнодушен, дитя, заброшенное в гибель войны и пересекающее ночное кладбище с могилой отца, чтоб испугаться этого мужика, вероятно, дезертира, который шкурой чувствует, что среди мертвых наиболее безопасно скрываться от живых (гораздо позднее всплывает в памяти эта ночь, окрашенная романтикой детства и страхом взрослого); недалеко от церкви он сворачивает на боковую тропинку, исчезает...

Осень и зима сорок четвертого врезаются в память энергичной фигурой мамы в телогрейке, шали. Ее легкие крепкие руки, снуют над ткацким станком, а затем волокут за бечевку прямо в кабинет председателя сельсовета остервенелого упирающегося бычка нашего соседа, толстомордого кладовщика: бычок объедает скудные яблочки на единственном в нашем дворе кургузом деревце; обалдевший председатель, с которым у мамы давние счеты, молча выслушивает гневные речи жены фронтовика о соседе-ворюге, наевшем брюхо за наш счет, которому все не хватает, еще и бычка отпускает объедать единственное дерево, с которого можно сорвать пару мелких "райских" яблочек для голодного ребенка.

Однажды она целый день пропадает у Клавдии Михайловны, помогая той готовить, кажется, к именинам дочери; перемалывая на мясорубке мясо, она произвольным движением изголодавшегося человека бросает в рот недомолотые кусочки сырой грудинки, и к ночи, когда мы уже собираемся спать, ее схватывают страшные конвульсивные боли в обла-

сти живота; побелевшую, в поту, ее всю выворачивает на постели, я забиваюсь в угол, кусая губы от беспомощности, чтобы не завывать, только бабушка не теряет присутствия духа, первым делом зная, что если с мамой что-нибудь случится, нам обоим конец, компрессами, промывкой она выхаживает маму, и та к утру засыпает обессиленным, но уже спокойным сном.

А зима, как всегда, наваливается внезапно, топлива нет, холод гуляет по хатенке, из-за отсутствия обуви я опять не хожу в школу, только и занимаюсь тем, что шастаю в ближайших от нашего домика развалинах, выламывая косяки, бревна с крыш, которые мы потом с бабушкой пилим вдвоем на чурбаки; чурбаки эти я ловко колю колуном; однажды, поскользнувшись на таком бревне, падаю с крыши развалины животом на саманный кирпич, несколько секунд вообще не могу дышать, но затем, придя в себя, опять упорно лезу на крышу и сбрасываю бревно. Собираясь за топливом, я натягиваю на ноги старые ботинки с отваливающимися подошвами, обматывая их поверх тряпками, а так как мы живем рядом с сельсоветом, то однажды меня ловит во время одного из выходов на улицу наш милиционер, долговязый, с лошадиным лицом и огромной кобурой на боку; барахтающегося, упирающегося, как тот бычок, он приволакивает меня опять же в кабинет председателя, в теплынь, швыряет на кожаный диван (такой я вижу впервые в жизни), и председатель начинает чинить мне допрос, почему я не хожу в школу; вдруг в кабинет фурией врывается моя мама. Такой я еще ее никогда не видел.

– Ты что, – орет она остолбеневшему милиционеру, – нашел на ком силу показывать, руки ребенку выворачивать. скотина, всю войну в тылу отсиживаешься, когда мужья наши головы на фронте кладут, да еще над нашими детьми издеваться, я на тебя в суд подам, и на тебя, председатель; для того тебя народ выбирает, чтоб ты в натопленном кабинете рассиживался, в теплых валенках разгуливал да еще мальчика допрашивал, у которого ноги тряпьем обмотаны, ох, управы на вас нет, говорю вам, дождетесь...

Она хватает меня за руку, и я почти лечу за ней по воздуху.

Когда в ноябре сорок четвертого нам пришел вызов и разрешение на отъезд в Бендеры, председатель так был рад от мамы избавиться, что немедленно выдал машину и даже помог деньгами.

Опять эти железные дороги войны, беготня за кипятком, страх, что уйдет состав, еда и питье, пропахшие углем, на котором мы сидим, спим, едем в теплушках. На станции Користовка пересадка. Сажу у края рельс, охраняю барахло, бабушка и мама пошли искать туалет, их все нет и нет, я уже пропадаю от страха, вдруг являются обе, напуганные: сели они где-то за кустами, часовой их застукал, и ни в какую не отпускает: незнакомые у военного объекта; повел к начальнику, еле выкрутились. Начинается посадка, все бегут, суматоха, два наших чемодана, которые несли грузчики, летят под вагоны, мы в поезде, мама внезапно обнаруживает, что нас обокрали, хочет выпрыгнуть из набирающего скорость поезда, ее силой удерживают, стыдят: у вас же мать, ребенок.

Четвертого января сорок пятого прибываем на дальнюю ветку бендерской станции, бабушка остается сторожить барахло, а мы с мамой под вагонами пробираемся в город, находим дом, в котором живут сестра отца тетя Роза с мужем и сыном Нюней.

Я остаюсь пока у тети, ем с ними, сплю почему-то на столе, мама тут же начинает войну: оказывается, в нашем доме живет бывший наш сосед сапожник Яшка Софронов, который был уверен, что нас уже давно нет в живых, он-то и взломал двери через два дня после нашего ухода в сорок первом, продал часть нашей мебели, теперь же уходить не хочет, как же, спас дом. Мама идет к городскому прокурору Дубинину, с которым отец когда-то работал в суде: в течение суток Яшку вместе с сыном Васькой (позднее офицером советской армии) и дочерью Валькой (позднее просто потаскушкой) вышвыривают из дома, и он в бесильной злобе обрывает электрическую проводку, которую якобы сам провел. Только через две недели я отправляюсь сам от тети Розы, с улицы Николаевской, 52, к нашему дому, иду,

узнавая знакомые улицы, вот Сергеевская (ныне Котовского), вот Каушанская (ныне Шестакова), а вот и наш узкий, как труба, переулочек, и в этот закатный час катят по нему мальчишки и девчонки на санках, фанерах, просто на мисках вниз, по накатанному снегу, и наш дом так просто, как будто я его лишь вчера покинул, стоит на фоне Днестра с широко заворачивающимся левобережьем и Кицканским монастырем на горизонте.

Замкнулся еще один круг жизни.

Вот и столовая, и буфет, лишь нет желтого абажура, голод и холод гуляют по дому; пока свет проведут, мерцает коптилка, ужасающе орут коты под бабушкиным окном, мама нагоняет страх на себя и на нас рассказами о банде "Черная кошка", да что им брать-то у нас: хоть шаром покати.

Мама ведет меня в третий класс, к учителю Валерию Федоровичу, с которым у нас тут же возникает взаимная симпатия; он ведет по совместительству музыкальный кружок в "доме пионеров", обнаруживает во мне способности, и вот же, через два года я уже солирую на мандолине и оркестр готовится к олимпиаде, которая состоится в июне, в Кишиневе, в разгар знаменитого ливня, снесшего низы города...

Вероятно, я так и не усну до утра. Холод кладет свои ладони мне на лоб, прикикает к губам, словно бы пытается сделать мне искусственное дыхание, или естественное замерзание. К тому же я нарушил главный постулат моей бабушки: нечего есть, иди спать. Пятый час утра, а я не сплю: есть хочется. Холод уже пытается пролезть под одеяло. И опять уплываю памятью в прошлое, в дни, гибельные, с бомбежками, но и с солнцем, теплом, едой, думаю, что же спасало, что поддерживало в страшные эти годы? И возникают, накапливаются дни, словно островки неба среди сплошного облачного мрака и потопа. Дни, забредшие, как заблудившееся стадо, в настоящее, с ледяной стужей и страхом голодной смерти. Дни, крепящиеся на именах и названиях земель, станций, городов – Вознесенск (можно было вознестись со всеми потрохами, но сколько света и синевы, сколько радости во всплеске – "вознесение"), Знаменка (после бомбежки такое бархатное, такое спокойное небо с низко висящими звездами, доброе знамение в продолжающуюся жизнь), Ясиноватая (рядом с разбомбленным составом – ясень, ясное летнее небо, задышающаяся радость, что ты-то и твои близкие живы), Серафимович (изучая с ребем Пустильником древнееврейский, я уже знаю, что "серафим" – это Ангелы, сжигающие – от слова "сараф", – но и спасающие, хотя станция-то носила имя писателя Серафимовича). К этой цепочке имен, по которым шло наше странствие, прибавляется "совхоз пятьсот девяносто пять".

Тридцать лет спустя, во время поездки в Рим, странно открывается сокровенный отзвук слова-имени – Миллерово – столб верстовой в Римской империи – миллеарум, стоящий на Форуме, от которого ведется счет расстояний по всем имперским дорогам, до Персии и Палестины, миллеарум, затем обнаруженный мной у Кейсари, по дороге на Хайфу, и мгновенно обозначивший емкость этого ушедшего в забвение римского пространства.

Тянется цепочка имен, едва обозначенный пунктир, вокруг которого, расширяясь и оттесняя в эти мгновения грезы и сны, всю мерзость настоящего на обочины, мощно и прекрасно заверчивается размывающееся далью пространство прошедших лет моей жизни. И край его обрывается околицей села, у которого мы сидим в ночной тиши с отцом и подобны двум любопытным путешественникам, добравшимся до края небесной тверди (по сей день меня пленяет эта картинка, иллюстрирующая Птолемею систему мира) и просунувшим головы сквозь эту твердь, чтобы увидеть тайны звездных водоворотов и завихрений...

В сумраке комнаты мерцает буфет, едва рисуясь своими узорами и гербами, словно бы оснасткой старинного корабля, вероятнее всего, корабля пустыни со вставшими на дыбы львами (я беседую с ним про себя, как чеховский герой с многоуважаемым шкафом). Нет, скорее, он подобен сфинксу, в котором (после моих уроков с ребем Пустильником) странно сочетается память о великом разрушенном Храме с домашним бытом – банками варенья,

коробками чая и кофе (сейчас, абсолютно пустой, он не вызвал бы даже интереса у церковной мыши: самый страшный сон в моей жизни, кишасший мышами, норвящими меня искушать, приснился мне в селе Норка). А буфет меркнет, уплывает, растворяясь в лабиринтах сна (после смерти мамы я ужасно переживал исчезновение буфета, который отчим, кажется, отдал в утиль, я ощущал себя предателем, и в то же время думал: а пропади все пропадом, после смерти мамы, потом бабушки, ничего не должно остаться)...

Просыпаюсь. Меня трясет мама: "Вставай, вставай, пора в школу". Бабушка шурует в печке, выскребывая золу, радио орет, как оглашенное.

– Слышишь, – говорит мама, – Михоэlsa машина сбила... Вчера... или сегодня ночью... В Минске... Передают по радио... Мне это ужасно не нравится...

– Мы немцех нох а мул цу ди идн,¹¹ – подбрасывает хворост в огонь бабушка.

– По такому поводу, может, я в школу не пойду, а?

– Вставай, вставай, ты и так много пропустил...

С трудом открываем наружную дверь, снегу намело метра на полтора, прокапываю лопатой дорожку до ворот. Разгоряченный, бегу, проваливаясь в снег, к Андрею, чтобы вместе с ним идти в школу, встречаю Андреева соседа, одноглазого Самсонова.

– Не ходи сейчас к Андрею, – останавливает он меня.

– А что случилось?

– Говорю, не ходи.

В школе собачий холод, и мы деремся на перемене сумками, чтобы чуть согреться. Андрей приходит к третьему уроку, тихо садится на свое место, на четвертом наш директор Михаил Маркович мечет молнии против врагов народа, которые, оказывается, бывают и среди нас. Э, думаю про себя, привычная политинформационная тарабарщина. Я все еще пребываю в счастливом неведении, в приятной взвешенности после бессонной ночи и странствий по кругам собственной четырнадцатилетней жизни. Уроки закончены.

– Пошли домой, – говорю я Андрею, не понимаю, почему он как бы сторонится меня, отстает от всей оравы, – что случилось?

– Папу взяли, – тихо говорит он в сторону, глядя вниз сквозь запотевшие от холода очки.

И мгновенно острой болью вспыхивает в моем сознании мысль, завершающая этот день моего четырнадцатилетия: они при обыске забрали и фотокарточку отца, любимую мою фотокарточку, которую я уже никогда не увижу, они будут выяснять кто это: так неожиданно странно, а по сути, так привычно для этого гибельного времени, всплывает на поверхность память о моем отце, самом дорогом человеке в моей жизни.

¹¹ идиш: опять берутся за евреев.

Отступление в лето семьдесят седьмого

1

Пятое июля семьдесят седьмого, суетливое втискивание в узкое брюхо змеевидно-зеленых плацкартных вагонов поезда "Бухарест-Москва". В пыльном окне купе – неожиданно приземистый тяжело осевший кишиневский вокзал, неожиданно усохшие любопытно-печальные лица друзей и знакомых, рискнувших прийти на проводы, и я, видящий себя как бы со стороны: мы еще все – и в брюхе железной змеи, и те, снаружи, – погружены в единое цельное пространство жаркого полдня, но невидимая глубинная трещина уже навеки разделяет нас, и в эти минуты все мы подобны существам, замершим среди необозримых, недвижных ледяных пространств, мы скорее ощущаем биением сердца, чем слышим, как в сокровенных глубинах уже возникла, растет, ширится трещина, еще мгновение – вся эта необозримая недвижность треснет пополам, раздастся отходной гудок, – и огромная машина отошедшей жизни поползет вдоль все ускоряющейся полыньи движения, поворачиваясь кругами на оси, то влево, то вправо, отходя назад, уменьшаясь, чтоб затем возникать только во снах; и ледоход с грохотом понесет нас в огромный и всепоглощающий, как море, незнакомый мир, а провожающие останутся на старом берегу.

Гудка не слышно, мы трогаемся, в первые секунды даже не ощущая изменений в окружающем пространстве, и никакой музыки расставания, мягкие воды которой укачивают обещанием будущей встречи, только все усиливающийся лязг, скрежет, металлические удары, визг поворачиваемых ключей, замыкаемых дверей, сцеплений, цепей, цепочек, осей, колес, рычагов, словно бы вся машина прошедшей жизни отделяется от нас, на ходу отмыкая все сцепления, на глазах отчуждая фигуры друзей и знакомых, обостряя боль живых обрывающихся связей.

Мы уезжаем в Израиль.

Сочетание слов, которое в эти мгновения оборачивается реальностью, впервые брошенное около года назад в замершие воды проходящей жизни, было подобно камню: и пошли от него круги, все расширяясь, и одним из этих кругов, прянув от окна вагона и уже обретая голубизну дали, отходит город, в котором прошло более двадцати двух лет моей жизни; три дня назад, когда я полночь вернулся с Унгенской таможни, он показался мне совершенно незнакомым и враждебным, как будто я впервые в нем очутился на своем долгом странническом пути.

Прикрыв глаза, покачиваюсь в углу купе, рядом со мной сын; жена и дочь – напротив; и если вправду каждые семь лет в человеческом духе завершается некий круг обновления, то дочь моя прошла свой первый, а сын – второй круг.

Легкая волна расходящегося круга, как бы влет просвеченная невысоким, то ли восходящим, то ли заходящим солнцем, отмечает в своем движении каждую травинку, щепку, тростник, рыбку, прозрачно сверкнувшую в ореоле золотистых струй подобием давнего мимолетного мгновения в тускло-казенных стенах университета, мелькнувшего ореолом светлых волос, зелеными глазами и гибким, отрочески-чудным движением девической руки, посылающей кому-то привет: не чудо ли – из мимолетного света, канувшего, подобно зерну, в воды времени, возникает влечение, облекаемое тревожно-прекрасным пространством звездной ночи, чутким сообщничеством парков, улиц, озерных вод, сокровенным течением молодых жизней, которое потоком перекрывает все внешние обстоятельства и неурядицы: оформление казенной бумаги в бюро регистрации актов гражданского состо-

яния; чужие углы с мерзкими соседями, низкооплачиваемую работу в темном подвале, несмотря на диплом с отличием.

Все это канет замшелыми камнями на дно времени.

А годы молоды, воды высоки, круги, подобно кольцам лет, наплывают, погашая друг друга; под стук колес в обратную сторону разворачивается свиток жизни; и подобно тому, как в ночь моего четырнадцатилетия, зимой сорок восьмого, ночь, навечно врезающуюся в память, я подводил итог двум первым семилетиям собственной жизни, напополам расколотым гибельной бездной Второй мировой войны, в эти часы, когда поезд в последний раз везет меня по этой земле, я пытаюсь подвести итог другим четырнадцати годам жизни, единой мерой которых является жизнь моего сына.

Опять зима, город залегший в глухих снегах, воды, отходящие в пар, лед, облака; страх, натекающий из ледяной темени, и к рассвету – известие: родился сын, роды были тяжелыми, ребенок слабенький; а вокруг предновогодняя суматоха, украшают огромную елку у собора, и в ночь на новый шестьдесят третий, моему сыну исполняется два дня; незаметно возникнув в доме, он тут же набирает силы, орет круглые сутки, у него зеленые глаза, светлые льняные волосы.

Вспоминаю слова мамы о том, что с моим рождением у отца пошли хорошо дела.

С рождением сына мы вступаем как бы в полосу светлых вод – выходит в свет, пусть пропитанная горечью издательской тяготины, урезанная, с множеством купюр, – но все же выходит первая моя книга: небольшое пространство, затон, малый кратер, из которого редкими находками прорывается наружу тот странный, затаенный ритмический гул, мучающий меня с младенчества, словно бы вместе со мной возникший из глубин несуществования, вырывается звуковыми волнами, смутно-варварской едва улавливаемой полифонией, которая и катит свои волны в глубинах человеческого духа: впервые отчетливо слышу этот утробно-глубинный гул в отрочестве, лежа на ночной траве, у Днестра, закинув руки за голову, глядя в звездное небо и внезапно ощущая, как земля, вместе с небом и звездами, гигантским креном клонится куда-то в пространство, – инстинктивно хватаюсь пальцами за траву, и тело мое в эти мгновения испытывает родственные небу колебания космических тел...

Вместе с рождением сына и рождением книги получаем новую квартиру: стою среди двухкомнатной, пустой, потому кажущейся необъятной после всех клетушек моей жизни, и белый, древесно пахнущий паркет делает ее подобной балетному залу, по которому так и тянет скользить, а в широко распахнутые окна я вижу идущих к дому жену и друга моего Игната, и мы остаемся с ним ночевать, прямо на паркете, который всю ночь празднично белеет в темноте, а утром, включив приемник, замерев, слушаем сообщение об убийстве Кеннеди...

И уже зарождается подспудно, патетической фальшью оркестров, криводушием, искажающим каждое мало-мальски естественное движение души, расчленяющим с равнодушием патологоанатома по законам краткого курса мертвой истории тот самый глубинный гул, и так едва натекающий в строки зарождается, усиливается, длится пир горечи.

В конечном счете собственная фальшь, мыслеблудие побуждают к опасному порыву, к жажде хоть что-нибудь сказать по правде, не буквальной да посконной, а правде духа, направляемой тем самым глубинным гулом.

Можно, конечно же, не прерывать этот угарный праздник, но жизнь становится подобной внезапно состарившейся, – только вчера сверкавшей бальной белизной паркета, – новой квартире: в короткий срок ухищрения, боязни, мелкие успехи забили все ее щели, подобно древоточцам, тараканам, жучкам – присосались к жизни, опутали ее тысячами нитей, запретов, обязательств, и производимый ими немолчный, пусть слабый, шум кажется шорохом

микрофонов, обернувшихся тараканами, шевелящих усиками антенн из-под шкафчика или холодильника, вдоль и поперек прослушивающих мою жизнь...

Тревожное ожидание какого-то катаклизма – так, вероятно, животные ощущают приближение землетрясения – особенно преследует меня весной шестьдесят седьмого. В память врезается странное мгновение в начале июня, у стадиона: вечер, внезапно сгустившаяся тьма, вот-вот разразится гроза, все случается в единый миг – белые облака на черном небе пересекают врассыпную падающие от порыва ветра птицы, слабо мерцающий на столбе фонарь, лопнув, рассыпается над моей головой брызгами стекла и фиолетовых искр, приседаю, неожиданно захлебнувшись ветром, и в сознании мелькает метнувшейся птицей то ли мысль, то ли образ, отчетливо запечатленный во тьме – низко над землей пролетевший Ангел смерти.

Утреннее солнце июня заливает желтизной поле пшеницы. Еду в дальнее село: там рабочие моей геологической партии начали бурение скважины. В полдень валяюсь на койке в хатенке, заменяющей в селе гостиницу.

По радиоточке передают: началась война между Израилем и Египтом.

В тревоге, затаив дыхание, слушаю новости из Москвы, не зная, где правда, где ложь, еще не ощущая, как человек в шоке, что это второй глубинный перелом жизни после Второй мировой, раскалывающий пятое мое семилетие геологическим сбросом: прошлое опускается вниз, будущее вздымается высоко, недостижимой страной обетованной.

Люди, жизнь которых потрясло одно и то же событие, вспоминают затем, где и как оно их захватило, что они делали в этот миг, спали, ели, разговаривали, слушали музыку, были безмятежно захвачены врасплох или ощущали тревогу.

С этого дня евреи всего мира, в любой его точке, внезапно ощутив себя единой нацией, будут вспоминать, где и как их захватила Шестидневная война.

В этот день замкнется еще один сокровенный круг моей жизни, соединив наконец распевы кантора "Бней Исраэль" и "Иерушалаим" в синагоге моего детства с реальной землей Израиля, круг, начавшийся молитвами, которые я в детстве повторял за ребе Пустыльником; перед взором опять возникнут буквы древнееврейского, весь шрифт: так, вероятно они блеснули из ямы, когда их раскопал наборщик, в дни разгрома еврейской культуры закопавший шрифт в землю до лучших дней, которые, вот же, настали: власти решили печатать Шолом-Алейхема...

Потом наступает шестьдесят восьмой – угрожающе четный, високосный, острой косой в висок, под корень, под корень...

Поезд останавливается, выводя меня из оцепенения.

– Варница, – называет дочь станцию, предшествующую Бендерам, в которые мы не въезжаем; в двухлетнем возрасте, когда мы однажды миновали эту станцию, дочь выдала: "Варница-коварница", такой она в памяти и останется; в вагон входит Андрей, те же вихры во все стороны, очки, тот же ореол дальнего легендарного Гренобля, встающий в памяти вместе с его обликом, только лицо усохло, покрылось морщинами лет, сорока четырех, из которых вот уже более тридцати прожито в этой захолустной провинции, незаметно покрывающей серым пеплом и этого живого талантливой человека, который по сей день сопротивляется, усиленно и успешно занимаясь живописью. Принес мне на память пару рисунков, решил проводить до Тирасполя. Поезд трогается, выгибаясь влево, по дуге, к мосту, к тому самому, через который я впервые прошел, семилетним ребенком спасаясь от настигающей нас гибели, а затем часто ходил с друзьями в парканские сады; уходит вправо навсегда такой весь сжавшийся, приземистый, с низкой церковной колокольней, которая в отрочестве так будоражила мое воображение, правым крутым берегом, сейчас таким скуко-

жившимся и поблекшим, отчетливо видной издали крышей Дома культуры, по углу которой я мгновенно определял местоположение нашего дома, уходит в небытие город, в котором я родился; уплывает слева совсем уже вросшая в землю турецкая крепость, за ней крутой обрыв, внизу – ряды автомобилей до самой воды, запаркованные здесь уже лет двадцать, вон и башня над скважиной, которую геологом бурил более десяти лет назад, бродил вдоль воды, улыбаясь тому, как рушится еще одна тайна детства: нас всегда влекла эта считавшаяся военным объектом зона за мостом.

Днестр узок, обмелел, видно, как местами его переходят вброд, а совсем вдали, уже голубея, рисуется стена деревьев: там – кладбище; всего лишь пять дней назад приехал попрощаться: на бескрайнем, хоть шаром покати, поле, которое планировалось под набережную, утюжили землю катки, вбивая в нее мою память вместе с остатками мельницы Кордонского, окопами, в один из которых я провалился, садами, памятными местами отрочества, среди этого поля странно еще торчали фундаменты и обломки стен моего дома, по которым еще можно было определить, где была столовая с желтым абажуром, где стоял буфет, где было крыльцо, сидя на котором я увидел над головой первый самолет Второй мировой, где мамина спальня, в которую вбежала незнакомая женщина и забилась под кровать (где она, существует ли, а в памяти моей жива), и все это, срезанное под фундамент, казалось таким мизерным, сжавшимся, как шагреневая кожа, местом, а ведь в свое время составляло целую вселенную; подвал был завален, только котельцы его стенок вывернулись на поверхность, как зубы из десен, и вдруг – укол в сердце: на одном из котельцов совсем слабо, но достаточно отчетливо проступает процарапанная гвоздем буква "Б" – как внезапный запредельный привет, как еще один со звоном замкнувшийся круг жизни: из глубины в тридцать шесть лет, как вытаскивают из сознания забытую занозу, пришел совершенно стертый из памяти миг – в первые дни, когда мы прячемся от бомбежек в подвале, я, стараясь отвлечься, одолеть страх, царапаю ржавым гвоздем по камню в стене...

И все это совершается в реальности, хотя могло бы показаться обрывком сна: как будто именно для того, чтобы я успел попрощаться, на всем укатанном поле оставили лишь обломки моего дома, вывернули наружу подвал, первое в моей жизни скрытое в глубинах пространство, подсунули камень с выцарапанной буквой (я ведь мог бы и не заметить), и стая тяжелых металлических чудищ, даже не приближается ко мне, на почтительном расстоянии продолжая утюжить прошлое, ожидая, когда я уйду, чтобы заутюжить и последние обломки моей памяти; а напротив, там, где стояли дома Карвасовских и Кучеренко, высится новая геометрическая в лоск гостиница, самоуверенная и беспамятная, и шумная ватага незнакомых людей садится в туристский автобус...

Мелькают последние металлические переплеты моста, а я все пытаюсь задержать взгляд на дальнем очерке деревьев: под ними вот уже десять лет – плита, окруженная металлическим черным заборчиком, на ней – в эмалевом выпуклом овале – лицо мамы, такой, какой я ее знал в лучшие годы; пять дней назад стоял перед плитой и жгло меня свечение, овалом идущее от эмали, и долго не мог найти выход из кладбища, так оно разрослось за эти годы, каждый раз натываясь на лицо в камне, которое совсем недавно видел живым; последний раз коснулся пальцами уже совсем рассыпающейся плиты на могиле дедушки Шлойме...

Набежавшие деревья и дома села Парканы стирают уже теряющийся вдали берег, город, мост, но вечно со мной – занозой в душе – чувство вины к двум дорогим людям – маме и бабушке, остающимся там, за горизонтом, в земле, к отцу, уже растворившемуся в азиатской бескрайности времени, в беспамятных скифских просторах...

Высок и неуверен свет солнца...

И никакого оклика...

2

Шестьдесят восьмой – високосный. Острой косой – в висок...

Начало марта. Снег пожух и почернел в подворотнях. Сажу в редакции газеты, в которой работаю уже более полугода, в своем кабинете, правлю какую-то галиматью. Звонок. Скрипучий плачущий голос отчима валит меня с ног:

– Ты уже больше не увидишь свою маму...

Почти теряю сознание, на ватных ногах иду куда-то, кому-то говорю, мелькают лица, дома, замызганные сугробы, из-под колес автомашин летят брызги грязи, рядом возникает жена, втискиваемся в такси, за стеклами, как в кошмарном сне, мертвые белые поля до самого горизонта, снег в полях еще глубок, не тает, опять эта сотни раз изъезженная дорога на Бендеры, город, полный грязи, снега, ручьев, крика, не к месту бойкий, до безды-ханности сжимающий меня в тиски своей деланно-бодрой суетой.

В доме полно людей, но не слышно голосов, какое-то беззвучное обмирание, тихо, как в бреду, шевелятся чьи-то лица, черные ленты висят-колышутся в кухоньке, блеклая люстра горит среди дня вместо желтого давно сгнувшегося абажура; в чашках и кружках, из которых мы пили чай и вино, тяжело стоят цветы, пахнут так душно и пронзительно: с этого мига их запах будет преследовать меня всю жизнь, как и запах карболки и камфары – с детских лет, из больницы, в которой скончался отец; в постели, еще под одеялом, как застала ее смерть, лежит мама; кто-то откидывает одеяло: на лице мамы виноватое выражение: вот, что я натворила, простите меня; в бабушкиной спальне валюсь на кровать, все во мне склеилось, бабушка странно суетится рядом, то громко заплачет, то успокоится, пытается кормить меня из ложки, совсем перепутала времена, думает, малый внук.

Смещаются времена, вопиют камни, окаменевают человек, черная ночь приходит посреди дня, потому и горят светильники, душа пребывает в пепле.

Крышка гроба стоймя приставлена к буфету, гроб – на столе; мама, вытянувшись, лежит в нем; все вокруг начинают, как по команде, рыдать и так же внезапно прекращают, и в наступившей короткой тишине слышу, как пришедший в себя отчим, негромко обсуждает с кем-то проблемы имущества; опять, как по команде, рыдают, выносят гроб, выходят; рядом со мной стоит Андрей, трясущимися руками держит, как плакат на демонстрации, написанную им табличку, на ней – мамины фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти; наклоняюсь, целую маму в ледяной лоб, и тут прорывает меня, плачу навзрыд, первый раз в жизни, некого уже мне стесняться, наплевать мне на весь мир, который надвигается кладбищем: от ворот до могилы гроб несут на плечах, земля комыями стучит по крышке; присмирив, швыряю вяло ком земли, говорю отчетливо, без запинки – столько лет не повторял – "кадиш", замечая удивление на лицах окружающих: "Итгада, вэит-кадаш шмэ раба..."

И высоким тонким плачем возносится голос: "Эль малэ рахамим..."

Я не вижу поющего, так и не увижу его, ощущение, что голос падает с неба...

Забрав пару подушек, самое для бабушки необходимое, навсегда увожу ее к себе, где в тихом угаре отсижу семь дней траура. Дом продадут.

Жаль мне только будет позднее, что не взял оставшиеся книги отца, коврик, на котором – тройка с кучером, пассажирами да бубенцами, вышитый для меня мамой и все годы детства провисевший над моей кроваткой, буфет: все это бесследно исчезло с лица земли.

Шестьдесят восьмой продолжается. Май полон цветения и света. Гонит меня по весам нерассасывающаяся боль.

Отлежавшись в тихой берлоге кокетельского дома творчества, бодро купаюсь в море, помогаю жене и сыну искать в прибрежной гальке сердолики, в одиночку подымаюсь на влекущий своей дикостью и мощью Кара-Даг, минуя Чертов палец, присаживаюсь над про-

пастью, гляжу на огромное словно бы выгибающееся в краях пространства угольно-синее море, ощущая, как остро в него погружается гигантский вулканический остов Кара-Дага, такой дьявольски обугленный, и внезапно вся затаившаяся боль со дня смерти мамы заливает меня с головой, и я сижу, оцепенев, и уже знаю, что боли этой никогда не избыть...

В августовской ночи тлеют волчьи цепочки фонарей по краю Котовского шоссе. Недалеко от нашего дома, во дворе дорожного управления, раскинули призывной пункт; всю ночь ходят между домами, выкликают имена, стучат в двери квартир, вручают повестки: в течение получаса собраться и с вещичками на выход; сосед, живущий под нами, потомственный антисемит, хохол Николаенко, который в дни Шестидневной войны ходил серый от хронической язвы и злости, повторяя встречному-поперечному: "Одну нашу дивизию туда, наведут порядок", получает повестку; во дворе призывного пункта от страха нападает на него медвежья болезнь: рвет и поносит; все рвущиеся в туалет, поносят его последними словами, пока офицер, производящий мобилизацию, не вышвыривает его брезгливо вместе с вещичками домой; на утро об этом уже знает весь жилой массив; не отказываю и я себе в удовольствии кинуть ему, почерневшему от переживаний, фразу: "Теперь-то я знаю, кого надо посылать наводить порядок в Израиль", а на душе до того омерзительно: неужели войдут в Прагу? В редакции мы спорим до умопомрачения, каждый раз кто-либо, спохватившись, бросается к телефону, срывает трубку, показывая мимикой, что нас подслушивают, на него машут рукой: э, столько уже наговорили, не поможет. Утром иду за молоком и хлебом в магазин, какая-то женщина, извлекая из сумки пустые кефирные бутылки, говорит мельком: "Вошли, с ночи.."

Что еще выдаст шестьдесят восьмой?

Совсем спятили, что ли: взбесили их румыны, Чаушеску, который потеряв самообладание, призвал с балкона весь народ к вооружению; поезда в Унгены, через границу приходят пустые, с выбитыми окнами, загаженными купе; наши выставили войска, танки, артиллерию вдоль Прута, вот и друга моего Игната прихватили, меня пока обошли. Что еще будет?

Боль затаилась, грызет изнутри. Октябрь приходит простудой. Обычное дело, глотаю таблетки. Но болезнь как-то затягивается, вяло тлеет, хрипы не проходят. Жизнь насквозь пронизана сюрреализмом: союз писателей прикреплен к лечебнице комитета госбезопасности, литераторы смешиваются с сексотами в очереди к врачу (впервые в жизни вижу в кабинете говорливой Агнессы Францевны стопку лечебных карточек с надписями "сексот", спрашиваю, что это. Охотно разъясняет, ибо ей вообще нравится подолгу беседовать с писателями: "Сокращенно: секретный сотрудник". Кто бы мог подумать. Уверен был: собачья кличка). Врач настаивает на госпитализации: острый бронхит, может перейти в хронический. Что ж, такой год, как шестьдесят восьмой, достойно завершить в больничной палате, в которой кроме меня еще четверо: справа, страдающий тяжелейшим воспалением легких, существует на капельницах; слева, Лукьянчук, у которого, явно рак легких, двое остальных все время меняются, не успеваю запомнить. В общем, веселая компания. Ведут меня в ординаторскую – вводить кальций в вену. Бодро улыбаюсь, в последний миг вижу стеклянный шкаф с инструментами, затем в абсолютном мраке пролетает белый Ангел, огненные кони; прихожу в себя, лежа на полу, угол шкафа разбит, к счастью, даже не оцарапался, медсестры мечутся в испуге. Вероятно, мне дают сильнодействующие лекарства: ночью сердце схватывает острая боль, забыв, что сестру можно вызвать нажатием кнопки, пытаюсь добраться до дверей, опять теряю сознание; прихожу в себя в свете ламп, с кислородной маской на лице, словно бы вдыхая воздух рая, умиротворенно смотрю на белое привидение, светловолосую медсестру, думаю: "Что со мной будет?"

На другой день приходит в палату исхудавший мужчина, по профессии тюремщик, капитан Тумаев, у него, кажется, последняя стадия лейкоз; к ночи просит у меня немного кефира, тихо благодарит; среди ночи захлебывается, бегут за врачом, в палату заваливается вся реанимационная команда, а мы лежим тут же, и никуда нас не переводят, до

утра шипит аппарат искусственного дыхания, бегают врачи, все впустую; к утру выкатывают аппараты, выносят тело...

На всю жизнь запомнится мне эта неделя больницы, целый год после этого не смогу прийти в себя.

Дни бегут, с утра мы с женой идем на работу, отводя сына в сад. В магазинах продается моя третья поэтическая книга с поэмой "Моисей", а дома я храню экземпляр с печатью цензора "Разрешено в свет" наискось через слова пророка Исаяи, взятые эпиграфом к поэме: "... Кричат мне... сторож! сколько ночи! сторож! сколько ночи! Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь..."

Дома, как птица в клетке, которая уже не может передвигаться на слабых своих ногах, летает от окна к окну, ожидая нашего возвращения, бабушка. Она смотрит телевизор, поет ангельские свои песенки, в свои девяносто три года без очков вдевает нитку в иглолку и просит меня, чтоб я об этом никому не рассказывал, а однажды задает вопрос, вошедший в мифические анналы нашей семьи: "Ду вэст нит лахн фун мир, нейн? Зуг мир: мир зэйен зей; зей зэйен унз?"¹² Однажды она, зацепившись за ковер, падает, ломает шейку бедра. Везу ее на "скорой", потом посещаю в больнице, тревога гложет меня, и бабушка, которой один глупый врач с непререкаемым самодовольством специалиста велел поставить гипс (от него позже начнется гангрена, сведшая ее в могилу) утешает меня: "Нэм зих ныт азой цу дэм арцн"¹³ Это главный принцип ее жизни. Только для меня у нее была припасена другая сентенция: "Золст манэ бейнер ыберлейбн"¹⁴.

Похоронили ее на еврейском кладбище, на кишиневской Скулянке. И однажды, неожиданно, прервав работу, пойду пешком, через Ботанический сад, через старое кладбище с мавританской развалившейся часовенкой, в которой в давние времена, как и подобает, обмывали и отпевали умерших, зашив их по древнему обычаю, в тахрихим¹⁵, доберусь до бабушкиной могилы, над которой уже стоит памятник, и долго буду сидеть, сливаясь памятью с ее высокой и чистой душой, я, переживший ее кости...

А в семидесятом у нас рождается дочь, которой на этих днях исполнилось семь лет, и она смотрит в окно вагона на быстро сгущающиеся сумерки, на огни станции Фастов, проплывающие мимо нас.

3

На киевский вокзал прибываем после полуночи. Полусонные, заблаговременно будим детей. Сама пересадка на поезд в сторону Чопа кажется обрывком сна: вокзал – воронка шума, круговращения толп, шарканья по асфальту перронов, подземных переходов, воздушных мостов, поездов, расползающихся, как застезжки-"молнии" на бетонном бушлате вокзала, – беззвучен и пуст, небо черно и беззвездно; нагло-панибратские грузчики привычны уже к этому, как раньше казалось, явлению не от мира сего: каждую ночь в неурочный час, словно бы с полотен Шагала, возникают высоко над рельсами бледные с лунатическим блеском в глазах, евреи, которых потоком несет в Израиль, падают с высоты чемоданы, раскинув руки, парят, как ангелочки, спящие в полете дети, которых отцы перебрасывают в руки матерей, гуськом, друг за другом, спускаются старики и старухи, и все ползут с какими-то узелками в полоску, то ли талесами, то ли завернутыми в платок остатками семейного серебра, бередя в дальних клетках памяти у пожилых грузчиков обрывочные видения шествий за

¹² идиш: "Ты не будешь надо мной смеяться? Скажи мне: мы их видим (в телевизоре), они видят нас?"

¹³ "Не принимай так близко к сердцу".

¹⁴ "чтоб ты пережил мои кости".

¹⁵ иврит: саван.

город, в овраг за еврейским кладбищем; время для пересадки в обрез, следует выжать из евреев как можно больше: в летучем состоянии, между сном и явью, когда ни позади, ни впереди нет пристанища, с деньгами расстаются легко; идем за металлической тележкой, уныло стонущей во тьме, подобно недобрым ночным птицам; наскоро забиваемся в узкие купе, при слабом свете плафонов распахивая вещи; поезд трогается.

Пытаюсь в темноте уловить дальние огни; странной кажется сама мысль, что к этому полуночному, оголенному, как скелет, вокзалу, примыкает многомиллионный город, где тоже живут дорогие мне люди; пытаюсь представить места, куда они водили меня, и вся эта огромная людская машина возникает двумя плоскостями, позитивом и негативом, секущими друг друга.

Светящийся вдоль Днепра сиянием лип, золотыми куполами, белыми колокольнями, двумя памятниками – великодержавным, на Владимирской горке – Мономаху, сусально-запорожским – Богдану Хмельницкому – солнечный позитив рассекается наискось по поднятой Богданом булаве черным негативом: и на нем – булава черна от крови еврейских младенцев, на головы которых она опускалась, и все улицы, обернувшись черными ущельями, текут потоками смерти, вливаясь в одну – Лукьяновскую, долгую, страшную, ведущую за город мимо совсем недавно разрушенного еврейского кладбища: ненависть даже к мертвым евреям вылилась во внезапное, как радостно-слепая злоба, выкорчевывание надгробий, иссякшее с первым порывом (страшнее нет зрелища, чем полуразрушенное кладбище), а Лукьяновская – как разорванная артерия: и хлещет сквозь нее кровь из тела города, который, забывшись как нарцисс, упивается собственной красотой...

Неделю назад этим же путем, мы возвращались всей семьей из Москвы, где оформляли визы; и я пытаюсь в этот миг единым взглядом охватить Москву, в которой совсем недавно провел более двух лет жизни, но сознание расползается фрагментами: от метро Кропоткинская тащимся по Волхонке, в горле пересохло, день раскаленный и словно бы обмелевший, ни один из автоматов с газированной водой не работает, вода в бассейне "Москва" кажется черной, хотя прямо над ним нещадно яркое солнце; на Арбате стеснение, шум, в оголенной витрине торчит муляж ноги, дома кажутся сжавшимися, присевшими на корточки в испуге перед вечно валяющимися на них многоэтажными циклопами Калининского проспекта, роскошной вставной челюстью вправленного в старинную часть города; бульдозеры и катки не дремлют, полчищами металлической саранчи сжирая и заутюживая невозможную память времени; голый каркас из букв и цифр парит в воздухе над каким-то стендом, жар парит нам лица, солнце выжигает на них тени от цифр – "77", знак перемены судьбы, охранную печать (две семерки да еще июль, седьмой месяц)...

Ощущение давящей тесноты и тошноты гонит меня из книжных склепов ленинской библиотеки, где я получил разрешение на вывоз некоторых антикварных книг (у каждого названия выставлена оценочная сумма, которую мне следует заплатить на границе, например, два редких тома Библии на двух языках – 3 рубля, тонкий роман Эренбурга "Жизнь и гибель Николая Курбова – 27 рублей), я держу сына за руку, мы почти выбегаем наружу, садимся в каком-то скверике, пытаюсь прижать, как хвост ящерицы, не упустить ускользающую мысль: почему меня внезапно так стеснило и затошнило, неужели от мельком произнесенных сыном слов: "Пахнет кладбищем..." В семьдесят третьем возил я его по "золотому кольцу": Ростов-Великий, Переяславль-Залесский, Владимир, Суздаль, монастыри, церкви, реставрированные, заброшенные, с ликом Христа в колоколе башни, загаженным крикливыми галками; бесчисленными могильными плитами, выстилающими это "кольцо", некогда сжигающее небесные высоты исступленно-чистым пламенем душ, сгорающих в молении Господу, а ныне почти не действующее; выслушивая мои объяснения, малый помалкивал, и вдруг, когда я велел ему собираться на прогулку по соборам московского Кремля, взъерепенился: "Опять кладбища! Не пойду! Мавзолей? Где мертвого под живого подделывают?..

Ни за что!" Он задел во мне самые чувствительные просветительские струны и не обращал ни малейшего внимания на мои произносимые с тихой яростью проповеди о невежестве, о возвышенном и прекрасном. По логике я должен был бы сейчас возмутиться: как это он посмел, храм книги пахнет кладбищем? Но в эти мгновения разлом судьбы проходил через нас, ее перст, подобно скальпелю, отторгал от нашего духа этот город, как чужеродную ткань: высокая и гибельная сила судьбы в эти мгновения вырывается из всех щелей жизни; ощущение высоты и необратимости выбранного тобой нового пути, по ту сторону разлома, позволяет неожиданно полной мерой ощутить то, что творилось в душе отшельника, монаха, Божьего человека, когда на глазах под напором новых варваров рушились церкви, монастыри, обители духа, и крестный путь виделся последней формой существования в этом земном мире. Вышибли душу, остались камни, из которых хотят выжать прибыль чуть пришедшие в себя потомки тех варваров: купола, иконы, ложки-плошки, расписное дерево, ах, какое чудо церковь на Нерли. Только отроческая душа, еще не искаженная насильным воспитанием, мгновенно ощущает везде поруганные кладбища, которые тебе подают заманчивой "лавкой древностей", инстинктивно сопротивляется этому потоку фальши, грозящему стать вторым всемирным. Только оказавшись в зоне разлома, сотрясаясь под его напряжением, внезапно осознаешь это, как истину.

В любой области жизни, из которой вышибают душу (с теоретической подоплекой, давно, планоно), веет кладбищенским духом, вот и ты ощутил в эти мгновения, подкатило к горлу...

Краем верхней полки, на которой лежу плашмя, срезаются пролетающие за окном брустверы, холмы, деревья, горсти волчьих огней, отмечающие людское жилье, медленно и широко разворачивающийся плес реки, мгновенно отшвыриваемый тушей бугра, почти прыгающего на поезд, мостик, слабо освещенный, но такой отчетливый, напоминающий переделкинский; закрываю глаза, чтоб хотя бы на некоторое время сохранить его отпечаток в заглазном пространстве, переворачиваюсь на спину: прошлой осенью последний раз пересекаю этот мостик по дороге в аэропорт; время далеко за полдень, небо затянуто тучами, идет дождь, а ведь еще до обеда чудно светило нежаркое осеннее солнце; ночью, вернувшись со спектакля в театре на Таганке, нашел в своей комнате оставленный Зоей ужин: холодные котлеты, кусок сыра, стакан красного крымского вина; утром всей компанией пошли после завтрака прогуляться до Можайского шоссе; перекресток всплыл в памяти двух участников давней трагической историей, в которой внезапно обнажилась оголенно-гибельная суть такой, казалось бы, мирно текущей нашей жизни в этих прекрасных, усыпляющих осенних пейзажах. Потрясающая душа история тихо оседает в слуховых извилинах под беззвучное падение осенних листьев. В последний раз вбираю с ее словами голоса рассказчиков, подобно их судьбам текущие как бы по обочинам истории, которая страннейшим образом, став зачином того последнего переделкинского дня, соединится с перелетом из Внуково в Кишинев, неожиданно продлившимся до утра следующего дня, и даст окончательный толчок решению подавать документы на выезд.

Минибус везет меня до аэропорта Внуково, который совсем рядом; скрещение дорог, теперь уже навечно врезавшееся в память, исчезает за плотной стеной дождя.

Над облаками – ослепительно-неживое, стерильно-иллюминаторное солнце, благо соседками оказываются знакомые девицы, отчаянные анекдотчицы. Вдруг объявляют, что ввиду плохой погоды, самолет вынужден совершить посадку в киевском аэропорту Борисполь.

В огромном терминале полно народу: прерваны и другие рейсы. На втором этаже находим более спокойный уголок. За стеклами сплошная темень. Одно спасение – анекдоты. Уже за полночь. Одна из девиц ведет какие-то переговоры с таможенниками, возвращается: те разрешают нам втроем переночевать в таможене; в комнате несколько коек, вероятно, для

работающих в ночную смену и отдыхающих между рейсами. В часу третьем ночи нас вырывают из сна: "Вы уж извините, прибывает самолет из Африки, вам придется перейти тут рядом, в небольшой зал, на скамьях как-то дотяните до утра..."

В полутемном, обшитом деревом зале устраиваемся на скамьях, у стены, пытаемся хотя бы дремать, и внезапно, как продолжение невероятно сюрреалистического сна, перед нами разворачивается сцена, приковывающая к скамьям и стесняющая дыхание: вдоль противоположной нам стены, почти беззвучно возникнув из двери, исчезая в другой, начинают в затылок друг другу двигаться словно бы на глазах делящиеся простым делением фигуры людей в одинаково синих куртках на молниях, синих брюках, солдатских ботинках, головы, торчащие из курток, черны, как антрацит, стрижены под машинку, черты лиц неразличимы, и потому кажутся все, как на подбор, подобными противогазам; несмотря на тяжелые ботинки, топота не слышно; бесконечной лентой, бесшумные, как привидения, они скользят и скользят вдоль противоположной стены, им нет конца, кажется, еще немного, и заполнят все пространство; вдруг из-за дверей доносятся слова русской команды, едва приправленные нечленораздельным матерком: "Стой, е-твою... Напра-а..." Бесшумно поворачиваются лицами к нам. Слабо поблескивают белки глаз. Появляется пара пожилых офицеров, коротких, коренастых, типичных русачков, переговариваются негромко, осматривают черные замершие фигуры; черный континент, пробуждающийся под бессмертную тарабарщину русского мата, леденит кровь, смещает понятия, уже чудится, что проговариваемое "бля, бля" ни что иное, как африканское "бла, бла"... "Нале-е... Арш..."

Все смешалось...

Даже в мире привидений: черные сменили традиционно белых...

Зал пуст. Только сильный запах пота, как запах серы, свидетельствует, что всего миг назад здесь проходили дьявольские рати...

Бежать с этой земли, и как можно быстрее...

4

До пограничной станции Чоп предстоит ехать целый день, солнце только взошло; бытие человеческого жилья с ленивым просыпанием, полусонным шатанием по комнатам, одеванием и мытьем, завтраком и выходом в город – вершится в узком, как ларь, деревянном пространстве с природой в прямоугольнике окна и прогулкой по коридору до туалета. Человеческое жилье, выросшее из глубин природы, срезанное под корень, лишившись веса, не примыкающее ни к селу, ни к городу, несется через леса, степи, реки, все это рассекая надвое, но нет прежнего ощущения, что в поезде ты собственным существованием сшиваешь этот разрыв, на этот раз все рвется напрочь.

Внезапно – редкий по глубине и сосредоточению покой. Причудливыми арабесками, переплетаясь во множестве планов, разворачиваются узлы, фрагменты, целые полосы воспоминаний, подобно кустам, погруженные в отбрасываемые назад воды прошедшей жизни; они освещены смутно-мистическим светом невидимой лампы и одновременно сверхотчетливы.

Солнечно-покойный, крепко оформленный быт с младенчески-счастливым ощущением постоянства окружающих тебя деревьев, неба, дома, реки, близости с дорогими тебе существами живет в расплывчатой глубине памяти как очень короткое воспоминание об ином мире, ином берегу, на котором я, оказывается, осознал себя в первых проблесках сознания.

Но лишь гром первого взрыва, как первая трещина ледохода, надломил тот берег, – исчез навсегда, стал мифом тот крепкий оформленный быт и больше уже никогда не возвращался, и несет нас паводок через всю набегающую жизнь, и то, что принималось нами за

быт, скорее – сбиваемые течением к берегу, толпящиеся по краю паводка вещи. И сейчас, в несущемся поезде, когда мы и вправду расстались абсолютно со всем, особенно ощущается эта скрытая тяга несущего нас через годы паводка. И катится историческое время, катастрофическое, избыливающее смертельно опасными водоворотами и течениями, и дном этого времени расстилаются пространства, несущиеся за окном поезда; сколько волн гибели прокатилось по ним, разрушая складывающуюся как сама природа жизнь наводнением бандитских инстинктов, какими только идеями не прикрываемых, но всегда сулящих счастливое будущее. И потрясший меня в раннем детстве своей хаотической, все сметающей мощью образ ледохода, наводнения, идущего почти впритирку к нашему дому, не был ли поднесен мне, – словно бы внедрен в наследственную память самым местом рождения, которого не выбираешь, – как неотвратимый знак: ты явился в жизнь и с момента рождения начинаешь открывать гениально закрепленные в Торе фазы – переход из тьмы в свет, семь дней творения, мир растений и животных, вот и начало быта в глубине Бытия, уже в начале озаглавленное убийством Каином родного брата, но – главный ключ времени, в котором тебе предстоит жить, вот он – в окне твоего детства, ключ, тобой еще не ощутимый, как бы припрятанный под ковер вместе со склоном, береговым обрывом, паводком, ось времени твоей жизни – наводнение, все срывающее с места потоком погромов, революций, войн, скитаний, пока не донесет этим наводнением до берегов земли, завещанной до начала творения. И вот же, вырвало из иллюзорно-прочного быта, и бег вод в эти мгновения резко обозначился, и за ним – весь напор прошедшей жизни, вся мощь глубин, поэтому он так захватывающе ощутим, опрокидывает напором, прижимая к утлой вагонной полке, но в глубине расслаивается, как бегущее за окном пространство, ползущее полосами, подобно шкивам, на разных скоростях.

Дальняя полоса, сливаясь с небом, едва смещается, почти недвижна, как последняя печаль и тайна, сливающаяся с высотами.

Средняя – самая мощная – несет полифонический гул.

Самая близкая полоса со свистом проносит деревья, кусты, хаты; их вкорененность кажется чудом, ибо обрывки самых свежих воспоминаний, пытающихся закрепиться на этой полосе, мгновенно сносит глубинным, пока еще смутным напором памяти – туда, в среднюю полосу, – а они сопротивляются, топорчатся...

... Рядом с холодильником, почти целиком занимающим полутемный небольшой вход в квартиру, на полочке ютится телефонный аппарат – оба этих домашних предмета странно связаны в моем сознании с мгновенным ощущением мировых пространств и бедствий: звонок, вырвавший из сна, доносит в трубку обыденный голос матери жены из далекого Израиля в ночь войны Судного дня, перекрывая тысячекилометровые разрывы; и бытовые интонации мгновенно разрушают уже притиснувший нас к земле груз тревоги; открываю холодильник, в этот момент он начинает гудеть и трястись, но трясется что-то подозрительно долго, и вдруг осознаю: да ведь это землетрясение. Прочный каменный дом вдруг ощущает всеми своими этажами собственную утлость, черный гул заполняет все вокруг, все не стоит ломанного гроша, лишь – дочь на руки – и в проем дверей, жена вытаскивает сопротивляющегося сына с кровати, другой рукой прижимая к себе портфель с документами на выезд; на мгновение гаснет свет, вбрасывая в сознание, как огненных коней в обмороке, острое ощущение беспомощности и разобщенности; свет зажигается, толчков нет, как и не было, на экране телевизора продолжается фигурное катание, только истерические крики бегущих с верхних этажей и огромная трещина по верху внутренней стены, словно черта, в этот март семьдесят седьмого подводящая итог сорока трех лет моей жизни, подтверждают, что бедствие все же произошло...

Письма, звонки, стуки в дверь...

Не очень-то помня адрес места, где жили во время войны, наобум посылаю письмо: необходима справка о смерти отца. Получаю ответ, клочок справки, и не верю: где-то что-

то фиксируется, ничто не пропадает: в этот миг, когда рассматриваю справку с именем отца, начертанным чужой рукой, нелепую и щемящую сердце весточку из прошлого, замытого, почти потустороннего мира, раздается звонок: доброжелатель спрашивает, не подал ли я еще документы на выезд, по секрету сообщает, что в эти часы в типографии переполох: вызвали критика, автора книги о писателях, велели тут же, не отходя от типографской кассы с буквами, заменить статью обо мне любым другим материалом.

Рог судьбы в нашем веке заменили сверлящие душу телефонные звонки.

Не живем, а ждем разрешения на выезд. Стук в дверь. Отставник из органов пришел осмотреть квартиру: хозяйским оком озирает уже не принадлежащее мне пространство моей жизни в этих стенах...

Документы поданы. Казалось бы, только залечь и ждать. Но все время что-то происходит. Вторые сутки идет снег. Ночь глуха. Листаю рукописи, которые взять с собой не смогу, читаю выписанные фрагменты из книги Кьеркегора "Страх и трепет" о жертвоприношении Авраамом сына Ицхака. Сын в соседней комнате жалуется на боли справа, в паху. Внезапный страх пронизывает сознание: ведь и я за него решаю его судьбу. Мерещится кровь, блеск острого лезвия. Боли не прекращаются. Врач из "скорой" говорит: надо в больницу. Машину заносит между сугробами. "Немедленно на стол", – говорит хирург в приемном покое. Сын отдает мне курточку, его уводят вдаль по коридору, запирают дверь. Плетусь в ночь по вымершему городу к дому. Звонки в пространство напрасны: телефоны знакомых, друзей отключены. Всю ночь падает снег, страх ест поездом. Какое еще необходимо искупление? Затемно, в слякотном дворе больницы ангельский оклик голосом незнакомой старушки, вероятно, нянечки, дежурившей в ночь: "Ваш-то такой худенький... Все у него хорошо. Вырезали ему аппендикс... Спит"...

Можно разжигать костер. Хотя и существует молитва: "Рукописи не горят". Утешение это или заклинание? Лоснящаяся кругло-самодовольная физиономия директора издательства Чернобрисова садистски вписывается во фразу: "Мне поручено вам передать, что больше мы вас печатать не будем". "Кем поручено?" "Этого я вам сказать не могу". Это когда еще не подавал документов. Теперь книги мои изымают из магазинов и библиотек, официально-циркулярный костер пожирает страницы, сбрасываются в котел уже набранные шрифты, те самые, на которых спасался в первые месяцы войны. Вокруг таможенного сарая бурьян: какое-то заброшенное чухлое строение дает нам тень от обнаженного палящего солнца; с ощущением раскаленного июня сорок первого вхожу в полумрак таможни: уже в полную силу потрошат наши вещи, разбивают люстру – так намеренно наступают на ногу, говоря: "Извините"; пожилой таможенник роется среди книг, находит Библию, водружает очки на кончик носа, став похожим на школьного учителя, читает; "Это читать запрещено", – шутит молодой таможенник; "Пошел ты...", – огрызается учитель...

После беготни со станции Унгены до станции Берешты за какими-то подписями и печатями, шока, когда внезапно обнаруживаю, что забыл портфель с документами в кабинете начальника станции, возвращаемся ночным поездом, и пунктиры огней слабо отмечают наше бесконечное падение во тьму...

Я люблю многоточия...

Паузы – это тайники памяти, тихие бездны, куда до поры до времени проваливаются целые острова твоей жизни, прорехи ада, утягивающие тех, кто намеренно причинил тебе страдания и боль с одним желанием – насладиться.

За паузами, как за пазухой, прячутся, пролетая и накапливаясь, пространство и время.

Укачивает на верхней полке. Сквозь слипающиеся веки несущийся за окном разнообразный ночной мир огней суживается до многоточия, предваряя сон, тихо в него проскальзывая. Сон проглатывает сотни километров, десятки часов.

Засыпаешь пространство.

Но длится за внешней паузой мир сновидений, духовная работа. Просыпаешься от смутной радости, что жизнь твоя, так гениально опрокинутая в сложные зеркала сна, будет закреплена, схвачена словами (если буду жив – знаменитое толстовское – "Е. б. ж."), и эти словесные, словно бы огненные выбросы из глубин подсознания вычертят неровный пульс времени, в котором вершится твоя жизнь.

Горек соблазн мысли: ну что за тихое безумие – тратить лучшее время жизни на то, чтобы покрывать бумагу рядами знаков? В огромном – через тысячелетия – токе человеческой жизни – усиливается, слабеет, но никогда не прерывается течение людей, для которых писать – означает жить. Ты – лишь частица этого течения, в которое мир погружен корнями.

Но – концентрированное проживание прошлого это – непрерывное воскрешение жизни, времени и пространства.

Но – в самоуглублении – просвечивает будущее.

Средняя полоса пространств за окном поезда затягивает широким течением. Люди, связанные судьбой и любовью друг к другу, подобны горстке, привязанной к одному бревну и несомой течением сквозь время сплошных кораблекрушений. За видимым благополучием и неподвижностью непрерывно слышен шум текущего времени, и все мы подобны азиатам, живущим на лодках. Умение держаться на плаву – форма жизни в нашем веке. Время от времени кого-то уносит. Нарождается новое существо. Незаметно растет. И внезапно забытое, казалось бы, дальнейшее течение, набирает силу, пробивается сквозь давно иссохшие истоки, заливают с головой.

К семидесятому выбираюсь, как из провала, из долгого угнетенного состояния после смерти мамы и бабушки, после пяти семилетий своей жизни Кажется, обновились клетки, пришло второе дыхание: часами бегаю вокруг озера; бег мыслей и образов глубок и легок; словно бы не прерываясь, продолжается бег по диким тропам Коктебеля, по песчаным дюнам Рижского взморья. Зыбки и призрачны образы, колышущиеся за древнееврейскими письменами; горька мудрость жизни за строками Иова и Когэлэта. Море недвижно под медленным закатом. И ни малейшего признака надвигающегося цунами. А ведь он идет-надвигается высокий вал, поднятый Шестидневной войной. И он обрушивается в нашу жизнь, в каждодневный быт, неся на своем гребне словно бы в миг выросших мальчишек, которые, кажется, лишь вчера играли в нашей подворотне в прятки. Также оравой поехали учиться в Ленинградский политехнический, вели суматошную студенческую жизнь, и вдруг абсолютно преобразившихся принесло их на гребне мощного вала: непослушными губами невежд повторяли они – "алеф", "бейт", а учитель поверх их голов негромким, но энергичным голосом бросал стих из Когэлэта – "Хавел хавелим, акол хавел" – "Суета сует, все суета", – но эта строка, выражающая последнюю печальную истину жизни, в устах его звучала, как пароль, как призыв к действию, и это было одно из главных открытий, поразивших меня в те дни. Помню: при свете люстры сидят они рядышком в нашей квартире. Как на одной скамье. Студенческой? Подсудимых?..

Зал суда был похож на аудиторию, где проходит экзамен, если бы не вооруженные солдаты вокруг скамьи экзаменующихся и невероятной силы ненависть, которой, как чесночным запахом, несло от официальной толпы, заполнявшей зал по специальным пропускам. Нежелательный человек не мог сюда, вероятно, просочиться даже через щель. Тем не менее мировые радиостанции словно бы вели передачу прямо из этого зала. Запах организованного погрома был настолько густ, что хоть топор вешай.

Два с половиной года просидят эти мальчишки в лагере, словно в кессонной камере, под толщей высокого вала, который, вышибив плотину, вынесет сотни тысяч: в одну из этих пробоин в эти часы несет и нас...

Покой достигает самых сокровенных своих глубин.

В зрачки вливаются, плавясь, оплывины облаков, зелье зелени, лубочная голубизна, взгляд плавно укачивают холмы, мысль обретает четкость и наполнение...

Мелькают, прячась в складках пространства, точенным очертанием церквушка, заповедный уголок, старый полуразвалившийся замок, горсть хат, причудливо брошенных в борозды холма, блеснет лезвием воды оазис: природа, проносящаяся на скорости, не любит выдавать нелюбопытному глазу свою истинную затаенную красоту.

На утлой вагонной полке, на дне уже клонящегося к закату дня, мир в какой-то миг ощущается внезапно раскрывшимся до дна – глубокое бытие истекает наружу и неожиданна радость погружения в эти глубины, словно бы вся духовная мощь прошедшей жизни катится, сжимаясь, к этой захолустной станции Чоп, горлу Времени, чтобы вырваться горлом...

Опустившаяся тьма ночи выбрасывает на поверхность. Мгновенная тревога сквозит из всех щелей. Горстью огней в безднах тьмы нарождается Чоп. Вся жизнь комом стоит у горла, которое затыкает пробка с названием Чоп. Страх витает над поверхностью вод. Страх равен неверию, что вообще можно выскочить через горлышко, вышибить Чоп. Глас Божий – "это хорошо..." – кажется невыносимой натяжкой.

В памяти щепками давних крушений кружатся слова Аполлона Григорьева – "только сердце страшно ноет, вызывая к жизни тени, да собака дико воет, чуя близость привидений".

Тени дорогих мне, ушедших людей толпятся в купе: провожают ли меня до границы?

Или так сбываются слова мудреца-кабалиста о том, что умершие евреи – по воздуху, воде, под землей – добираются до Израиля?

Раскрывают двери вагона. Под самой пробкой нет воздуха, нечем дышать. Ночные травы кажутся поседевшими...

5

Начинается гонка, гон, загон. Времени в обрез. Желанная дверь таможни так близка, но... начинают идти, не переставая, как те черные рати в сомнамбулическую ночь в аэропорту Борисполь, солдаты, туристы, пионеры, профсоюзные делегации, и все – гончими толпами, называемыми коллективом, и у всех право вне очереди, а тут еще право вдвойне перед "изменниками", жалко толпящимися со своим барахлом по обочинам...

Ухитряемся просочиться между каменной стеной и коллективом.

"Живо, живо, быстрее-быстрее", – кричат таможенники, все как на подбор с толстыми, заплывшими салом загривками, закатанными рукавами, стоят вдоль длинных столов для разделки душ, зазеваешься, живо распотрошат; особую ли выучку по генетическому коду получили, как превращать обыкновенное помещение в пыточную камеру; в полумраке сузившегося сознания, когда разум да и простое соображение начисто выжаты и господствует одно лишь всеохватное от сотворения мира – "время в обрез" – руки их выстреливают из закатанных рукавов, как обрезы, выворачивает, как человеческое нутро, внутренности чемоданов, навзничь валят взглядом, у людей все валится из рук, а вокруг – какой-то непрерывный грохот, в окна, поверх потолка, под полом – все рычаги, шатуны, кривошипы, шкивы в трюме "Времени в обрез" пришли в бешенство, вот-вот разнесут в куски и так едва склеенную реальность, и ощущение, что, зацепившись их последних сил, висишь под фермами грохочущего и сотрясающегося моста, еще мгновение, распадется последняя связь, полетишь в бездну, а посреди этого всего стоят обыкновенные жлобы-субчики из окрестных деревень, чьи мозговые извилины давно затянуло чистым салом, которое гонят из казенных харчей, гайдамацкие чубчики лихо приклеены к их круглым бескостным головам, вырезанным из цельного куска серой резины, господствует одно указание – мять и растягивать эти куски резины во все стороны ртами, бровями, злобой, окриками – и это единственное живое чувство в

помещении резиновых манекенов; все вещи, как и твою личность, элементарное достоинство, существование в пространстве, комкают, щупают, сминают, вышвыривают – "быстрее, живо, живо" – живодерня в разгаре; "Безграмотный, не можешь декларацию заполнить?!" – растягивается в кривом крике кусок резины в рубашке и форменных брюках, и я третий раз черкаю черновик этих черных мгновений, чертову декларацию – что, чего, сколько; но "время в обрез" вышло, выдохлось, пресеклось, поезд уходит. Собственными руками приходится впихивать раздавленную свою личность, скомканные и разбросанные внутренности – в чрева чемоданов; нас выпихивают обратно, в зал ожидания...

Впереди долгая тягучая ночь в этих залах, подобных подземельям с казематными толстыми стенами. Волчьи глаза лампочек, множество тихо шевелящегося люда по углам, под лестницей, на заплеванном полу; счастливчики располагаются на редких скамьях, с которых время от времени сгоняет возникающая из темени бескостная голова, на этот раз в милицеской фуражке; в коротких мгновениях тяжелой дремоты пытаешься хотя бы чуть утишить разворошенное нутро; сна нет, лишь – растекающееся медузой сознание, края которого раздражающе колют случайные лица кружащихся вокруг...

Утром есть лишь пригородный поезд через пограничную реку – до станции Чиерни-над-Тиссой: опять потрошат, заставляют выворачивать карманы, могли бы, и веки вывернули; на утреннем свету эти бескостные существа вовсе не кажутся страшными, лишь омерзительными; последний образ этой огромной, в одну шестую мировой суши залегшей страны, в которой протекли сорок три года моей жизни: словно бы прилепившееся к стене таможни черное, как жук, существо женского рода в казенной форме шевелит пальцами, выползшими из рукавов – извлекает из сумки семилетней моей дочери коробку с вишней в шоколаде, разламывает каждую конфету; убегает, оставив это насекомое за своим занятием – будет жучкам ее лакомство на обед; кричит на меня совсем уже зеленый сосунок-пограничник, преграждает автоматом дорогу на перрон, какой-то самой последней бумажки не хватает...

Поднимаемся в вагон, забрасываем чемоданы; поезд медленно ползет мимо тоскливого пустыря, редких кустиков, рваной колючей проволоки, вот и неприметная мутная пограничная речушка Тисса, ржаво погромыхавающий мостик; вдоль вагонов беспрерывно шляются военные, толпятся в тамбурах, курят, лениво передвигаются; скорее и не вышибли, а как-то расковыряли грязной вилкой затычку по имени Чоп, и запах жесточайшей отчаяннейшей скуки ползет, растекается из горлышка бутылки...

6

Чиерни-над-Тиссой, восточный край Чехословакии, под сводами вокзала вяло шевелится такой же серый люд, как и по ту сторону Тиссы, только что за пыльным стеклом буфетной витрины рядом с черствыми бутербродами, будоража детское воображение, стоят не менее пыльные бутылочки "пепси-колы"; появляются с механическими тележками какие-то рыхлые, по-бабьи жирные грузчики, за перевозку багажа требуют сигареты или четвертинки водки; пыльные кусты, безразличные лица, забытый угол европейской провинции под самым боком восточного соседа, ворочающегося великана, обдающего перегаром и скукой, могущего в пьяном сне задушить, как ребенка, всю Чехословакию; именно здесь, в забившейся в карликовые леса, роющей носом пыль Чиерни-над-Тиссой, в каких-то толстостенных помещениях, наполненных тюремным воздухом, десять лет назад в кольце вооруженных до зубов, про себя скрежеща зубами, переговаривался Брежнев с Дубчеком, а за его спиной металлическая саранча в нетерпении рвала гусеницами остолебеневшую от страха тишину этих плоских пространств...

Пригородный поезд до Кошице рассекает прекрасные среднеевропейские пейзажи: летучие синие очертания дальних гор витают над зелеными, разбегающимися навстречу взгляду гребнями холмов, а между ними мелко, но широким прозрачным разливом по сверкающей на солнце гальке, бегут чистые воды; в вагонах – грязь, молчаливая публика пригородных поездов полна безразличия к заоконным красотам, сидит, сутулясь, вбирая головы в плечи; по туалетам в поездах лучше всего можно судить о душевном состоянии народа: нигде раньше я не видел столь загаженных туалетов, как в пригородном поезде, пересекающем Чехословакию, некогда слышную образцом чистоты и порядка в срединной Европе...

В Кошице, в таком же полдневном остекляневшем оцепенении и безлюдье, перебрасываем чемоданы в поезд на Братиславу; вокзал, вероятно, пребывает в непрерывном непрекращающемся ремонте: стекла закрашены известкой, валяется строительный материал, буфет и касса закрыты, среди всего этого бродят как неприкаянные редкие прохожие, вечные пассажиры, все ищут, где бы купить бутылку воды...

Над Европой стоит жаркий полдень седьмого дня седьмого месяца семьдесят седьмого года – день, когда я впервые в жизни пересек границу страны, в которой прожил более сорока лет, чтобы больше в нее не возвращаться: я не проклял ее, подобно композитору Глинке, который плюнул в ее сторону, очутившись за шлагбаумом; я скорее походил на мятого, потисканного Иону, только что вышедшего из чрева кита, но пребывавшего в этом чреве гораздо дольше, чем пророк; я только начеркал несколько слов на клочке испорченного бланка декларации, сохранившемся в кармане: так закладывают памятную записку под фундамент, на котором начинают расти стены нового пространства жизни, клочок, написанный на дымящихся развалинах отошедших лет —

*Прощай, страна былых кумиров,
ушедшая за перегон,
страна фискалов без мундиров,
но со стигматами погон;
быть может, в складках Иудеи
укроюсь от твоих очей —
огнем "возвышенной идеи"
горящих в лицах палачей...*

И внезапно словно бы память и вправду откупорили, как бутылку, прибитую к берегу, извлекли этот клочок, и хлынули строки стихов, написанных там, в чреве кита, которые я знал наизусть, хлынули до времени, требовали фиксации, я лихорадочно искал, на чем записать, я бормотал их, бегая по вагонам поезда на Братиславу, пытаюсь что-либо обменять на чешские деньги, и бесконечное – "тридцать, сорок (по-чешски – "сорок") витало в воздухе, увитое обрывками стихотворных оборотов; сквозь рвущиеся горлом строки, которыми из артерий прошлого хлестала, мгновенно восстанавливаясь и расширяясь, вся реальность, вся боль, весь дух отошедший жизни. Бледным призраком толкалась вокруг тоскливая ночная Братислава с каплями дождя, вяло растекающимися по стеклу вагона, тоской огромного, как ангар, вокзала, опять же по-бабьи жирными носильщиками, требующими чекушки, огромными, как кузов грузовика, металлическими вокзальными платформами, на которых везли наш багаж, погружали в какие-то подземные пакгаузы: на этих же платформах, рядом с багажом, стелили газеты, замотанные прошлой бессонной ночью, ложились бочком, вплотную друг к другу, и холод металлической постели преследовал в извилинах неглубокого сна острыми поблескивающими лезвиями, гнал по лабиринтам скрежещущих ржавыми дверьми и вагонетками пакгаузов, погребал в веющих могильными сквозняками подземельях посередине Европы; гулкие голоса отдаленно перекликались в этих сумрачных лабиринтах, и я

каждый раз, вздрагивая, просыпался и, стараясь не разбудить спящих рядом жену и детей, осторожно отрывал из-под себя края каких-то чешских газет и почти вслепую записывал не дающие спать строки...

Уже в купе поезда Братислава – Вена соседи, вероятно, с удивлением следили за моим странным поведением: я извлекал из карманов мятые клочки газет, распрямлял, сортировал, переписывал, при этом все время бормоча себе под нос; так и промелькнули бледными тенями чешские пограничники, австрийская пограничная станция, на которой, кажется, меняли тепловоз или еще что-то, в вагоне возникли то ли австрийские жандармы, то ли люди из особого подразделения, облеченные миссией охранять евреев, едущих из России, все они в темнозеленой форме, с короткоствольными автоматами, все невероятно пузатые, с жирными лицами, без шей, самодовольно-благожелательные, непонятно только как с такими животами можно бегать, ползти, прыгать, нападать, словом, защищать нас, и потому все это мне кажется какой-то скудной мистификацией, а лающая немецкая речь их вызывает совсем уже неприятные ассоциации; одному я чем-то понравился, и он все пытается мне что-то сказать про надвигающуюся за окном Вену и самого уважаемого им и всеми австрийцами земляка, генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма, который-с-миром-в-мире-за-мир, а я все пытаюсь определить возраст этого вооруженного толстяка, а вкупе с ним и возраст их уважаемого Курта: выходит, все они участвовали во Второй мировой; надо же, когда-то войну развязали, а нынче более всех за мир борются; когда-то евреев в лагеря да рвы гнали, а теперь выбраны их охранять. Солнце всю освещает ухоженные поля, проносящиеся горстями ярких игрушечных домиков поселки и городки; из сузившейся до мерцающего сердечного ритма щели Чопа, через металлические пустоты Братиславы поезд внезапно вырывается в раздвинувшееся пространство – так внезапно раздвигают смысл жизни, – все тот же советский поезд, но уже как бы иной, даже проводник весь как-то сник и стушевался, летит поезд, разрывая Австрию, западную Европу, ее благополучие и сытость своим беспокойным задыхающимся бегом, отбрасывая облака, косо и низко идущие на восток, в охваченные хронической паранойей депрессивные пространства России...

7

Задолго до того, как поезд втягивается в дебаркадер венского вокзала, в вагоне появляется невысокий, похожий на шолом-алейхемского коммивояжера, энергично поворачивающийся во все стороны, увешанный восклицаниями человек, представитель Еврейского Агентства, говорит на ломанном русском, с акцентом – "В Израел? Ньет? Да? Очень хогошо". Сознанием, пребывающим в разреженных поэтических пространствах, где народившееся и уже ощутимо надвигающееся событие, скрытое за именами – "Израиль, Иудея" – подобно эпохе Ренессанса, мощно оттесняющей почти полувековое существование в императорских провинциях, – этот человек воспринимается как еще одна необходимая деталь дороги; а за окнами – вся в вывесках, недвижно утопающая в немецком языке, безглагольная, вся в заглавных буквах существительных – Вена, полная противоположность ожидающему нас пространству жизни в лоне древнееврейского, текущего потоком, вот уже пять тысяч лет, без всяких заглавных...

На перроне нас встречают стоящие полукругом люди с автоматами и собаками, в большинстве поджарые, пожилые, более похожие не на полицейских, а на железнодорожных рабочих – сменщиков, сцепщиков, машинистов, после ночной смены подрабатывающих на охране русских евреев, ибо держат оружие как-то непрофессионально и почему-то стволами в нашу сторону, будто мы и представляем угрозу, а не безликая масса, шевелящаяся за их спинами, откуда и могут вынырнуть покушающиеся на нас; автобус гребет по утопающей в благополучии Вене к высокому, стоящему особняком, неказистому дому, похожему на

неудачно реставрированное средневековое сооружение с развевающимся над башней орденским флагом "Красного креста"; ворота замка прочно замыкаются за нашей спиной; расселяют по кельям; сквозь решетки на окнах Вена видится, примерно, так же, как придворным короля Артура¹⁶ виделась современная Америка; в огромную душевую, на мокрую желтизну кафельного пола сквозь мыльно-матовые стекла стекает печальный свет закатного солнца: в чужих орденских стенах, в легком пару душевого чистилища, рядом с сыном, нагой, каким пришел в этот мир, после последних дней, казалось, притиснувших трепещущую душу к самому дну преисподней, я ощущаю сиротскую печаль льнущего света, неслышное прикосновение моего Ангела, так давно меня не окликавшего, глажу сына по голове произвольным жестом отца моего, чувствуя благословляющую тяжесть его ладони, и ком подступает к горлу...

По обочинам отрешенности, высокого солнечного столба, стоящего в колодце орденского двора, возникают мимолетные лица: усердно доброжелательствуя, задают вопросы, заполняют бланки, суют детям конфеты и жевательные резинки, пугают людей, вскормленных молоком безверия, благословениями пищи, зажиганием пятничных свечей, за которыми мгновенно возникает прикрывающий руками лицо облик бабушки, распеванием религиозных песнопений, несущих ее голос; только один парень из обслуживающего персонала, коренной израильтянин, держится в стороне, больше молчит, погруженный в себя: мы быстро находим общий язык, вероятно, потому, что за каждым из нас жизнь, представляющаяся другому тайной за семью печатями; подолгу стоим у подробной, до мельчайшего поселения, карты Израиля, парень показывает мошав, откуда он родом, места, где воевал, а я гляжу на это пространство, густо насыщенное жизнью, думаю о том, что на мировых картах оно выглядит точечным, но какая невероятная духовная мощь изливается, растекаясь по всему миру, из жерла этой точки; на среднемасштабных мировых картах точка растягивается в полоску, и подобна эта полоска свитку миниатюрной Торы, туго свернутому: но стоит лишь начать разворачивать, и это раскатывание длится через тысячелетия...

Улетаем в ночь.

Сквозь раскинувшуюся в сытом бургерском сне Вену полицейские машины сопровождают наш автобус; опять который раз ведут гуськом в распластавшихся теменем плоских пространствах. Смутно колеблющиеся во мраке плывущие к ногам ступени, ведущие вверх.

Рассвет обозначается в иллюминаторах бескрайним Средиземным морем.

Воочию дожил до того места и того мига, когда своими глазами вновь вижу, как отделяются воды от неба...

На разреженных высотах, окутанные голубым небесным туманом, над горько-синими безднами вод, пилоты переговариваются в мегафоны, подобно Ангелам, по-древнееврейски..

Слышится – "тов" – как дальнее эхо Божьего восклицания – "Ки тов"...

Уже на этих высотах привыкаешь к обыденному звучанию пятитысячелетней древнееврейской речи...

"Бэрейшит"...

"В начале"...

Это слово означает начало сотворения Мира и любое начало, пока еще продолжается жизнь под солнцем, в том числе и начало мига, когда как-то неожиданно и сразу под крылом возникает полоса берега, море домов прибрежной равнины, летное поле...

¹⁶ Марк Твен, "Янки при дворе короля Артура".

Выхожу на трап, мгновенно окунаясь в тяжелый жар средиземноморского июля, и первый взгляд – вдаль, где колышутся в жидком, как масляное масло, мареве размыто-синие очертания гор, единственных в этом месте.

Я вижу Иудейские горы...



Книга первая Птолемаис

Роман юности

Глава первая

* * *

**СНЫ КАРМЕЛЯ.
ВЕНОК ИЗ ЛИСТВЫ, ПОЧЕРНЕВШЕЙ —
В ОКРЕСТНОСТЯХ АКРЫ.
АККО: ВЕНЕЦИАНСКИЕ ВЕТРЫ.**

Осень семьдесят девятого. Я на первых военных сборах. Лагерь их прибрежной низины уходит в расщелину. Над нами круто встают склоны горы Кармель. Боковые полы палаток круглые сутки приподняты и привязаны поверх крыши к центральному шесту, сквозной ветер, настоенный на море и высотах, всю ночь продувает наши сны.

В полдень солнце отчаянно припекает.

Совершаем переход в полной боевой выкладке: бежим в гору с носилками на плечах, а к носилкам наглухо привязан сухонький аргентинский еврей, наш "профессиональный раненый", из которого наш грузный бег вытрясает душу, но он уже смирился со своей участью и при слове "раненый" смиренно ложится на носилки; ползаем в сухом кустарнике, занимаясь маскировкой, привязывая к каскам, запихивая за ремни пучки травы, сухих веток, отчего все мы, почтенные отцы семейств, становимся похожими на огородные чучела и помираем со смеху, глядя друг на друга. Наши командиры, два лейтенанта-резервиста, оба Иакова, и одного мы зовем по фамилии — Хореш, вместе с нами бегают, ползают, а ведь одного возраста с нами. И потому мы очень стараемся, из кожи вон лезем, пот — ручьем, без конца прикладываемся к фляжкам.

На стрельбище до того старались, с таким рвением вели огонь, и, в основном, поверх мишеней, что зажгли мелкий сухой кустарник на склоне, побросав оружие, кинулись гасить пожар чем попало, даже пожарная машина приехала, но пока она нехотя взбиралась в гору, огонь ушел в расщелину и сам собой выдохся: теперь, когда мы возвращаемся к обеду в лагерь, черная плешь справа жжет нас укором глаза.

Вся наша братия, на пятом десятке обучающаяся военной сноровке, состоит из евреев, приехавших из России, Аргентины и Соединенных Штатов Америки. Аргентинцы наиболее сноровистые и исполнительные, русские наиболее расхлябанные и все норовят сачкануть, американцы стоят несколько особняком: все они верующие, носят кипы, все они огромны, толсты и неповоротливы, все бородаты и добродушны. Особенно один из них, от которого мы просто подышаем со смеху во время строевой подготовки: пожилой старшина Дов командует в довольно умеренном темпе: "Ахат-штайм, ахат-штайм"¹⁷ американец же, который держит карабин на плече, как бревно, мучительно старается переставлять свои слоновьи ноги в такт, но его огромное тело не подчиняется ритму, запаздывает, идущие сзади в ногу корчатся от смеха, старшина Дов не понимает в чем дело, стыдит нас, почтенных отцов, и таким весьма нецеремониальным маршем все мы вышагиваем на обед.

¹⁷ иврит: "Раз-два"

В невысокой душной столовой лязг ложек и кружек, стук пластмассовой посуды, блестящие потом лица. Более всех поглощают пищу русские: овощные салаты, крутые яйца, которых в запасниках израильской армии неисчерпаемое количество, борщ, суп, шницели с картофельным пюре, куриное мясо, рыба, яблоки, апельсины, виноград, все идет в дело изо дня в день, иногда и по две порции; и не то, чтобы от большого голода, просто жалко той огромной массы пищи, которая выбрасывается, если ее не съедают: не может этого видеть человек, приехавший из России. Толстобрюхий, круглолицый с руками молотобойца Сема из соседней палатки до того объелся на днях крутыми яйцами, что получил приступ печени, но и после этого продолжает приносить с собой в целлофановом мешочке из столовой вареные яйца и, видя наше удивление, беспомощно разводит ручищами: "Жалко". Среди спокойных аргентинцев, которые, в основном, мастеровые, и абсолютно беспечных американцев, которые, в основном, компьютерщики, русские, в основном, инженеры и техники-механики, за исключением нескольких гуманитариев, отличаются подозрительностью и бдительностью, впитанной с молоком прошлой жизни: посреди ночи просыпаешься – кто-то из "наших" с фонариком рыщет в кустах между палаток, какой-то шорох показался ему подозрительным; аргентинцы не реагируют, американцы вообще не просыпаются, даже некоторые русские считают, что это уже слишком.

Прибыли сюда разношерстно одетые, рыхлотелые, и военная форма тоже не могла скрыть животы и обвисающие груди. Первые дни сказывался возраст, но после первой недели незаметно подтянулись, загорели, даже обрели резвость. Все похоже на состарившихся под грузом жизни детей, внезапно выпущенных на волю. Только выдастся свободная минута, тут же – на травку, в кусты, пузом кверху, бездумно следят за мягким током облаков в ситцево-синем, словно бы выцветшем от солнца небе, и на всех лицах выражение отчаянной беззаботности, невероятного отсутствия ответственности. Многие, получив повестки, ныли, пытались отлынивать: жена, дети, работа, долги. Теперь же, как нашкодившие дети, счастливы, что сбежали от всего этого и после целой жизни могут с такой бесшабашностью впитывать забытый покой глубокого синего неба.

Ужинаем довольно рано. Кроме дежурных, все свободны. Солнце еще только как бы собирается клониться к закату. Отправляемся к морю, долго идем через банановую плантацию, прямые, высокие, нежнозеленые сочные стволы, долгие лопухие листья плотной стеной и недвижным шелестом сопровождают нас с обеих сторон: пересекаем старое шоссе Хайфа – Тель-Авив, проходим через кибуц: шеренга аккуратных домиков с верандами, ползучими растениями, оплетающими стены, экранами цветных телевизоров, светящимися в глубине, креслами-качалками, на которых покачиваются хозяева, читая газеты, тянется до нового прибрежного шоссе, под которым мы проходим и сразу оказываемся на берегу, охваченном безмолвием. Только волны, курчавые, белесовато-седые в неверных лучах низкого солнца, со слабым примусным шумом катят на песок. Как ватага мальчишек в детстве, купаемся, кто в плавках, кто голяком, бестолково прыгаем навстречу волнам, заливающим с головой, что-то кричим друг другу, но это скорее крик в пространство.

Сиротлив и дерзок человеческий голос в ровном шуме средиземноморских вод.

Возвращаемся гуськом, притихшие.

Вчера мы не пошли на море, а по тропинке взобрались почти на самый гребень Кармеля. Неожиданно, с высоты птичьего полета, паря в дремотной серой дымке, открылась даль Галилеи в тихом и позднем солнце, полная покоя и вечности, с темно мерцающей шапкой горы Мерон на севере, под которой могила рабби Шимона бар-Йохая, согласно еврейской традиции, написавшего кабалистическую Библию – "Зоар", и замершим облаком горы Тавор на юге, на которой, согласно христианской традиции, Иисус вознесся на небо между Ильей-пророком и Моисеем; между этих двух гор, прянув от наших ног изгибами, гребнями, прогибами катилось древнее, насыщенное пятитысячелетней историей холмистое простран-

ство, покрытое лесами, и внезапно как бы падало в провал, ощущаемый как кусок неба, цельно-синей глыбой врезающийся задолго до горизонта в землю, некий поток небесной синевы, силой клинка брошенный среди гор – Кинерет, Тивериадское озеро; за Тавором тонкой облачной грядой колыхались горы Гильбоа, на которых погиб первый еврейский царь Шаул, а севернее Мерона залегла темная облачная страна – Ливан, светилась снежная вершина Хермона; взгляд скользил на запад, его влекли встающие стеной по всему западному краю мира угольно-глицериновые средиземноморские воды, подпирающие берег, сплошь в развалинах отзвучавших легенд, погибших Тира и Сидона, бесконечно тянущихся кладбищенских лежбищ, бескрайней преисподней – Шеола, где каждый склеп и крипт был одновременно могилой и храмом, и похороны сливались с разгулом; уютно, как бы уткнувшись в подмышку Кармеля, залегла Хайфа, посверкивая стеклами окон в закатном солнце, и странно затерянным под нами казался наш лагерь...

Один взбираюсь на гребень. Огненный шар солнца отчетливо нависает над морским горизонтом, касается воды, в слабой серой дымке меняет свои очертания, превращаясь то в оранжевую палатку, то в огнем пышащий каравай, сглатываемый водами; рядом со мной протянулась паутина по сухим, жестким октябрьским травам; над головой, в еще светлом небе, – ранний серпик луны, ранние звезды; с высоты виден лишь наш лагерь, Хайфа, зажигающая огни, но взгляд устремлен поверх нее, к северу, вдоль моря, где в сгущающихся сумерках мерцает островок огней – легендарное место – Акко, при Александре Македонском – Птолемаис, при крестоносцах – Акра.

За спиной – молчаливо надо мной нависшая черная громада Кармеля.

Завтра у нас свободный день, и мы, несколько человек, решили провести его в Акко, где я еще не был, и странно течение памяти, выносящее в Акко.

Также тайком, один, впервые приехав в Иерусалим, сидел на закате на Масличной горе, вглядываясь в Старый город, в бесчисленные плиты могил по склону, думая о том, как вихри событий гонят время, обволакивая землю, и от их напластований стоит сплошной туман, марево, как при хамсине, а камни эти в долине Кедрона лежат недвижно, дожидаясь своего срока на Суде с терпеливостью, равной вечности...

К Акко глубинное течение памяти тянет через судьбы людей, которых я даже не видел, но чье незримое присутствие и влияние было так ощутимо в моей жизни.

Мамина двоюродная сестра Сима, которую я видел только на фотографиях, в тридцатые годы жила в Черновцах среди австрийских евреев, помешанных на германской культуре, и захваченная врасплох войной, оказалась в черновицком гетто. Она стала любовницей то ли румынского, то ли немецкого жандарма и тем спасла не только свою жизнь, но и жизнь парализованной своей матери и многих других евреев, только ближайших своих друзей, семью Анчель спасти не сумела. Все это я знал из бесчисленных рассказов мамы, которая в сорок шестом, узнав, что тетя Сима жива, ездила к ней в Черновцы, привезла о ней единственную для нас память – желтый матерчатый знак "могендовид", который носили в гетто. Особенное участие Сима принимала в судьбе сына Анчелей – Пауля, которого тоже потаскали по принудительным лагерям, двадцатилетнего парня, по словам мамы, невероятно талантливого: он в совершенстве знал немецкий и французский, писал стихи, тяжело переживал смерть родителей, к которым был очень привязан, подвержен был депрессиям.

В сорок восьмом году, с которого начинается повествование в этой книге, через Черновцы шел довольно внушительный выезд евреев на Запад, и бендерский наш сосед Шука Бликштейн, в подвалах которого мы прятались в первые дни войны, умолял маму ехать с его семьей в Израиль, но мама боялась даже думать об этом. Тетя Сима и Пауль уехали: она оказалась в Аргентине, а его и след простыл.

В семьдесят седьмом, перед отъездом, внезапно натыкаюсь на стихи австрийского поэта Пауля Целана. От нескольких строк его биографии – мороз по коже: это, несомненно,

тот Пауль Анчель, взявший псевдоним Целан, в конце сороковых выпустивший в Вене книгу стихов "Песок из урн", с пятидесятого живший в Париже, а в семидесятом бросившийся с моста в Сену. Тетя Сима пропала в Аргентине: жива ли, умерла? Две судьбы, краем коснувшиеся меня, унесло да занесло потоком жестокого времени. Всего на четырнадцать лет он был старше меня. Но его нет, и я его догоняю, а строки его догнали меня, рефрен его всемирно знаменитой "фуги смерти" – "...волос твоих золото, Гретхен, волос твоих пепел, Рахиль"...

Уже здесь я узнаю: он был в Израиле.

Странно и сладко повторять его строки, сидя на высоте, вглядываясь в дальние, словно бы колышущиеся на волнах огни Птолемаис: гибельно-влекущим сухим пламенем потрескивали эти строки там, в Скифии, в прошлой жизни с унылой белизной зимнего дня за окном и ревматической сыростью подтаивающего снега...

*Венок из ливны почерневшей сплетен был
в окрестностях Акры...
И пепел я пил из разбитых кувшинов
в окрестностях Акры.
В руины небес я скакал с безнадежно
пониженным забралом...*

Осторожно опускаюсь по тропинке в сгущающиеся сумерки, и на каждом повороте, когда склон почти обрывается из-под ног, руины небес подступают вплотную и дышат мне в лицо пропастью.

Неисповедимы пути человеческого духа: еврей, спасшийся из гетто, с истощенными нервами, видит себя печальным рыцарем-крестоносцем под этой луной, которая рядом со мной – только протяни руку – наливается чистым светом...

Разрублен мечом ясный месяц – цветок
из окрестностей Акры.
Цветут, как колючки, сухие суставы
в заржавленных кольцах...

На свежем воздухе, приправленном слегка дымом (где-то далеко что-то жгут по ночам), со скатанным войлочным одеялом вместо подушки, сразу же погружаешься в глубину, на самое дно мира сновидений.

Сны калейдоскопичны, с множеством наплывов, провалов, разрывов, но удивительно отчетливы, подробно запоминаются. Сны странно многоэтажные. Требовательные. Вот вчера, ночью...

Долгий, натянутый бичом пустынный берег с накатом волн, и в звуке – "бич" – резкий охлест уходящих во мрак бескрайних побережий: щелчок словесной английско-русской ловушки: "бич" – берег.

Сижу в машине, мотор работает, но фары не зажигаются, и это уже не первый раз.

Копшусь в темноте кабины, обозначается слабый свет, едва очерчивающий предметы, кто-то дышит мне в затылок: дыхание женщины; поднимаю стекла, пытаюсь уехать, краем глаза в боковом зеркале вижу ее силуэт, колеса вязнут в песке, бегу, меня преследуют с толстыми бесшеими овчарками, резко освещенными в ночи, ударяю одну из них палкой по лбу (удар глухой, тупой, до нытья в зубах), другой пес прыгает в воздух, переворачивается через спину во мрак, выныривает оскаленной пастью.

Просыпаюсь на долгом, натянутом бичом пустынном берегу, на грани двух стихий – моря и песка, и ощущаю облегчение: я на земле Израиля.

Женщина. Однокурсница, Лиля Стефановская, молоденькая, стройная, совсем не та устрашающая туша, с которой прощался, уезжая, почему-то латает мне брюки, а я в одной длинной рубаше иду по улицам, все смеются, указывают на меня пальцами, но я-то знаю, меня-то преследует страх приближающихся экзаменов. Вся надежда в том, чтобы узнать, каким образом Лилия оказалась в Израиле?

Просыпаюсь от счастья, что экзамены не могут меня догнать: я на земле Израиля.

Одним сплошным потоком течет "там" и "здесь".

Мир пишется целиком.

Так почему, почему я не могу помочь дорогам мне людям: отцу, матери, бабушке?

Разве мир, который я оставил "там", – потусторонний?

Вот, разгадка: косо уходящая вверх стена бескостных, резиновых, таможенных лиц, этакая гигантская египетская "пирамида демократического централизма" – они выпускают нас, намертво отсекая всякую возможность вернуться, превращая оставленный мир в потусторонний, в Поля мертвых, они более жестоки, чем природа – не позволяют даже посетить эти Поля.

Но есть же какие-то щели, просадки, лабиринты, соединяющие коридоры?

Иду, иду, по каким-то бесконечным, запутанным, покрытым тоскливо-серой олифой, темным, только в открывающиеся по сторонам двери время от времени просачивается немного света: да ведь это явно больница, марля на окнах, обледенелые деревья за стеклами и непрекращающееся ощущение голода, вот и мама в палате, и бабушка, и папа в постели, печально улыбается, гладит меня по голове, и я чувствую, он умирает, ускользает душа его, любящая меня, Господи, как это – все высокое, горькое в душе его творится в этой убогой обстановке, и я хочу поцеловать его в лоб, но в ужасе ощущаю, что прикасаюсь губами к стеклу.

Толстое, плоское бесконечное стекло, и я прижат к нему, распростерт на нем, а за ним, освещенные нездешним светом – отец, мать, бабушка.

И внезапна пронзительно-горькая мысль: это их отходящие в иной мир души в последние мгновения хотят помочь мне, остающемуся, а меня нет, это мой врожденный недостаток, как врожденный порок сердца: в эти последние мгновения я всегда оказываюсь в ином месте, я всегда запаздываю...

Все укладываются спать. Два аргентинца бранятся: ругня по-испански уж как-то очень несерьезно звучит. Американцы ведут какие-то расчеты, то ли технические, то ли денежные. Русские рассказывают друг другу про прошлую жизнь. В просквоженном свежестью ночном воздухе отчетливо слышны дальние голоса, бряцание оружия: идет смена постов.

Надо пораньше уснуть. Утром едем в Акко. Под луной слабым фосфорическим пламенем дымятся высоты Кармеля.

*И я стал смеющимся братом, железным архангелом
Акры.*

Но лишь это имя назвал – и упало мне пламя на щеки...

Наскоро записываю вчерашний сон.

Нельзя отсутствовать...

...Длится яркий солнечный день странным залогом за будущую жизнь: я, совсем молодой, или это уже не я, а мой сын, стоим на плоской саманной крыше, вокруг зелень, кипарисы, сзади море, а по нам ведут огонь, свистят пули, но мы стоим во весь рост, в некоем солнечно-праздничном ореоле смерти, и чувство интенсивности жизни, иной окраски мира, радости остаться в живых яркой ножевой вспышкой рассекает серые будни, плоские, как

крыша, на которой мы стоим, и плоскость эта ширится, становится как бы крышей мира, и я падаю плашмя, лицом на эту крышу, разбросав руки и ноги от усталости и счастья, и сон мой просквожен чистым ветром.

А над сном – именно так я ощущаю – над сном – в высотах – огромная, летуче-легкая башня, но дело не в ней, а в сокровенной и невыразимой такой ощутимой ясности, с которой охватывается с этой башни сущность бессмертия и пространства, а, по сути, длящейся сквозь жизнь печали.

На башне – свет, тютчевская легкость и тихая радость узнавания последней тайны, а где-то внизу, противовесом башне и высотам – пещеры, голубые гроты Капри, кокетельские воды, сердоликовая бухта Карадага, странные, отчетливо знакомые подземелья, ощущаемые, как реальное воспоминание: я спускаюсь в подвал, оттуда – лаз, протискиваюсь в него – попадаю в другие подвалы, откуда-то проникает свет, но неизвестен источник, и никак не могу вспомнить, где же я, то ли в подвалах под развалинами зданий недалеко от дома папиной сестры, тети Розы, то ли в бункерах под развалинами здания бывшего румынского трибунала, напротив школы, в которой учился первый год после возвращения из эвакуации, то ли в подвале у Вовки Расстригина, на Константиновской улице, откуда вглубь земли вела широкая штольня, говорили, до самой крепости, и мы, мальчишки, набрав гнилых картофелин, шли с фонариком, насколько хватало мужества, потом, остановившись, швыряли во мрак картофелины, кричали, и голоса гулко и долго катились под землей.

Но что за слова я выкрикиваю?

Они сами складываются в ритм, шумом волн, шорохом банановых плантаций, летучих мышей и я не молод и уже не дано мне летать во сне...

Просыпаюсь от слабого крика чайки, летающей над палатками, ведь море совсем близко, с удивлением вспоминаю об этом, следя за ее полетом в светлеющем небе.

В четвертом часу утра царапаю строки, сложившиеся во сне...

*Тускнеют звезды. Время длит свой бег.
В пустыне духа умирает гений.
И ставит жизнь беспечный человек
на медный грош мгновенных наслаждений...
Провал времен. И не течет вода.
И над сухим забытым руслом Леты
сон Ангелов тревожит иногда
забытый звон катящейся монеты...*

И беспмятно засыпаю до пробудки...

После завтрака едем в Акко. Прибрежная промышленная Хайфа дымит и шумит. Машина с трудом продвигается в сплошном потоке транспорта. Стрелы порталных кранов неожиданно высвечиваются солнцем, подымающимся из-за горы Кармель, и город, взбирающийся уступами в потоках зелени все вверх и вверх, с золотистым сферическим куполом собора, кажется глянцевой цветной картинкой поверх собственной промышленной зоны, покрытой слабым, но различаемым на глаз дымным шлейфом, протянутым поверх другого, седовато-белого, гребешками вспыхнувшего на солнце шлейфа волн.

У чек-поста поворачиваем налево, проезжаем пригороды Хайфы: Кириат-Ям, Кириат-Бялик, Кириат-Моцкин бегут по обе стороны шоссе стандартными разноэтажными зданиями, говорящими о современном уровне быта их жителей, но не более.

Безликая геометричность, поразившая всю мировую архитектуру, подобно непрекращающейся эпидемии ползет из страны в страну, с континента на континент, и цивилизацию второй половины двадцатого века легче всего можно будет определить по функционально-однообразному слою пригородов, охватывающих унылым кольцом такие тысячелетиями живые, сливающиеся с окружающей природой архитектурные организмы Рима, Венеции, Флоренции, Парижа.

Огромный, лепящийся сотами от берега в горы человеческий улей внезапно, как бы оборвавшись на басовой струне, отбрасывается движением назад вместе с утренним морским ветром, облаками, солнцем, бьющим ослепительной шрапнелью из-за Кармеля, и навстречу нам летит сизо-зеленая прибрежная низменность, влекуще-пустынная и ветренная, летит-налетает, захлестывая с головой нетерпеливым ожиданием, тайным обещанием нового обвала человеческого жилья, сот жизни, наплыва улиц, улочек, переулков, окон, балконов, скверов и лиц, лиц, лиц, и одновременно гнездящимся в душе столь же тайным неверием, что это вообще случится.

Это противоречивое чувство живет во мне уже многие десятки лет: в далекой Скифии часто, напряженно и тщетно я пытался представить себе приморские города Израиля, но кроме некой туманной гряды с накатом волн вдоль побережий я ничего представить не мог, ни маломальской улочки, дома, кафе. Помню, в какой-то переводной, нарочито безликой книге рассказов израильских писателей я обнаружил несколько строк: некто сидит в открытом кафе на тель-авивской набережной, смотрит на волны, попивает черный кофе и размышляет над жизнью; этих нескольких строк, этого ничтожно малого позвонка оказалось достаточно для моего жадного истосковавшегося воображения, чтобы в мгновение, развиваясь пульсирующей системой улиц, шоссе, улочек, переулков, кафе, магазинов, развернувшись вдоль моря нескончаемый живой улей, организм, расцвеченный метелками пальм, разноцветными полотнищами поверх столиков приморских кафе, бьющими, как паруса на ветру, пестротой одежд и южного говора, и когда я впервые проехал от Ришона через Пуэбло-Эспаньол, Бат-Ям, Яффо, центр Тель-Авива, Гиватаим, Рамат-Ган, Рамат-Авив и далее до Герцлии и Раананы, и, расступаясь по сторонам дороги, бесконечным лабиринтом, почти не прерываясь, разворачивался приморский мегалополис, меня все время не покидало ощущение, что я уже все это видел, прочувствовал, запомнил.

Но стоило этой людской махине уступить набегавшему пустынному пространству, как снова тайное неверие закрадывалось в душу...

Посреди пустынного пространства, летящего на нас, вдалеке возникает, увеличивается странное существо помесь сороконожки с бегемотом, вот уже рядом, неизвестно как возникло посреди поля, бредет слева, вдоль дороги...

Акведук времен Римской империи.

И это как толчок, возвращение в прошлое, едва зародившаяся в душе, еще смутная жажда археологических раскопок памяти, едва просыпающейся, протирающей глаза, щурящейся на как бы подсеченные утренним солнцем горы Западной Галилеи. Сворачиваем налево, и вдалеке, в стороне от шумных дорог цивилизации, возникает, подобно легенде, прекрасная флотилия – крепостные стены подобны бортам кораблей, мечети и башни – мачтам, флотилия, в любое мгновение готовая отправиться в прошлое, столь же неведомое, как и будущее, навек пришвартованная к этим берегам, летучая, как слова Шатобриана об украшенном цветами афинском флоте, всегда напоминающем юность, пристань как продолжение корабельных палуб, Птолемаис; только и успеваю произнести: "Акко", словно загадочное женское имя, хрустальный звук, относимый ветром, плеск воды, "аква медитерана", как мы уже едем по улице Бен-Ами, вдоль моря до маяка.

Час ранний.

Вот уже идем по крепостной стене, ветер шевелит метелки финиковых пальм, ударяется в зеленые купола, гуляет по огромному мощенному в колыхающихся солнечных пятнах двору мечети, пробегает под мавританскими аркадами, ерошит кипарисы, крылья голубей, хлопает флагами готовящегося ежегодного театрального фестиваля, морской утренний ветер, сквозной, арбузный, вместе с нами без цели шляется по переулкам, вдоль рыночных прилавков, напоминающих Венецию: корзины темно-зеленой влажной петрушки, укропа, ранний улов, диковинное разнообразие рыб; крабы, исходящие судорогами морских глубин, а вот и венецианская площадь: голубые жалюзи, голубые фонари, настенные рисунки, в проемы между домами море, размытость, солнечный блеск, неразличимость, то ли кончилась суша, то ли началась вода, то ли башня, то ли отчаливающий галеас, белье на балконах развешивается подобно парусам, флотилия рыбацких кораблей колыхается пригородом, и это удивительное смешение суши и моря, города и кораблей в который раз обновляет легендарный образ, Венецию, Пирей, Акко. Так влечет к себе любое смешение, полулюди-полуживотные, кентавры и минотавры, смешение диких гор с искусно высеченными в них дворцами и храмами Ассизи, где капитель и фриз как продолжение грубой скалы.

Нерасчлененность вносит в ощущение реальности силу двух цельных миров, из которых ни один не выделен до конца, вдвойне усиливает наше воображение, удваивает силы нашего духа, мы дышим удвоенной неопределенностью, одновременно в двух мирах, и это дает удивительное ощущение наполненности жизни...

Спускаемся в "Хан" с множеством колонн, через рыбацкую площадь, мимо мечети Синан-Баша, в "рыцарские залы" города крестоносцев, построенного на уровне моря, мимо ресторанчиков в нишах. Огромные, высотой до восьми метров залы с мощными аркбутанами, куда мы пробираемся через полуразрушенные входы, наново прорубленные через завалы земли, спрессованные столетиями в почти окаменевшие блоки, выступают издали, мерцая вкрадчивой влажностью, как бы рождаясь наново, полу-прорезаясь из завалов и сливаясь с ними, как предстает погребенное прошлое взгляду археолога: опять нерасчлененность, слияние двух стихий – человека, борющегося с неумолимостью времени.

На грани двух стихий – суши и моря, гор и неба – человеческое начало жаждет их слить и одновременно борется с этим искушением. Здесь же оно борется со временем и природой, которые лениво, но неумолимо пытаются вернуть отвоєванное им прошлое в первобытное природное состояние, стереть из памяти, подрубить его корни, чтобы корни древесные прорастали да шакалы выли там, где когда-то, казалось, человек праздновал победу над слепой природой. На миг вспоминаются корни да вывернутые, как челюсть, камни подвала из земли, обломки фундаментов родного дома, замершие перед ножом бульдозера.

У печали и обреченности запах подземелий.

Но тем обостренней жажда жизни, жажда воспоминаний.

Как неожиданные провалы в памяти – огромные глыбы окаменевшей земли, поддерживающие своды; в гигантском теряющемся во мраке зале, очевидно, церковном, колонны схвачены железными скобками, за ним – зал поменьше, каменные скамьи.

Здесь проводят музыкальные концерты, объясняет гид по-английски, мелькающий где-то впереди, а мы идем по какому-то тоннелю, медленно, словно бы ползем, каплет со сводов: подземелье, темный лабиринт с шорохом шагов, неясным дальним бормотанием гида – как прямое продолжение ночного сна.

Лабиринты прошедшей жизни напрямую соединяются с лабиринтами подземелий Акко...

Опять это слияние двух стихий.

Их нерасчлененность.

И срезанная под корень лунатическая местность моего детства кажется мне столь же далекой, как времена крестоносцев – от современности.

И лампочки, горящие под сводом тоннеля, двоятся, троятся все тем же одиноким фонарем на улице детства, у дома Карвасовских.

Тридцать лет в пределах одной человеческой жизни равны столетиям.

И смена юности зрелостью – как смена общественных формаций.

Два потока времени одной жизни, разделенные тридцатью годами, сливаются, смещаются, противостоят друг другу...

Их нерасчлененность удваивает силу памяти...

* * *

СТРАСТИ СОРОК ДЕВЯТОГО.

ЮНОСТЬ: УТРЕННИЕ ЧАСЫ.

СПЯЧКА И ЯРОСТЬ.

Зима сорок девятого жестока. В ледяных панцирях стоят деревья, высоки сугробы. Люди передвигаются, но все как бы погружены в спячку. В глубоких завалах моих снов течет, опрокидывает, слепит одно видение: потоп в горячих июньских руслах ушедшего лета сорок восьмого, нижние улицы Кишинева, залитые водой, грязные потоки, вздувающиеся по обочинам улиц, и мы с мандолинами и гитарами, в верхней части города; в комнатах "Культпросвета". Уже темнеет, льет как из ведра, место для ночлега нам не нашли, устраиваемся прямо в кабинетах, кто на столе, кто – под столом, кто – на стульях; всю ночь кто-то падает на кого-то, возня, смех, окрики руководителя нашего Валерия Федоровича. На другой день солнце ослепительно, под ложечкой сосет, сидим в какой-то столовой, а поесть все не несут; изнывая от безделья, насыпаем в графин с водой соль из нескольких солонок. К нашему ужасу, один из взрослых вдруг наливает себе из графина воду в стакан, подозрительно смотрит на наши постные лица и выпивает воду как ни в чем не бывало. Давимся от недоумения и смеха, от горячего супа и котлет, вероятно, сделанных из хлеба.

После удачного выступления уезжаем домой, спим всю дорогу. Не успев войти в дом, валяюсь в постель. Сплю до часу дня, просыпаюсь, выхожу из темной комнаты: ослепительное солнце, стоящее над двором, сверкающее в сочных бурьянах, реющее легкой испариной над еще влажной с вчерашнего дня землей, рассекает мой сон надвое, в который вновь проваливаюсь, едва вернувшись в комнату и сплю до утра следующего дня. Такого долгого, просторного по-юношески сладкого сна, вероятно, больше никогда у меня не было в жизни, а ослепительная цезура солнца, рассекшая этот сон, и по сей день слепит отошедшим и потому печальным светом того мгновения, когда я пересекал двор, мгновения молодости, сверх меры полного беззаботностью и ощущением, что вся жизнь впереди...

Барахтаясь, пытаюсь выбраться из завалов послеполуденного, какого-то угарного сна под гулкие удары в замкнуто-пустых металлических емкостях: недалеко от нас, в полукилометре вниз по течению Днестра, – пристань; пароходы, а вернее старые колымаги "Молоков" и "Ляпидевский", да пара грузовых барж остались на зимовку, вмерзли в глубокий лед, их понемногу ремонтируют засыпающие на ходу люди: изредка в нутре то одного, то другого металлического корпуса раздаются ленивые удары.

Вспоминаю, что над обрывом, у пристани, меня ждет одноклассник Игорь Горенюк. На лыжах я научился ходить еще в селе Норка, но Игорь в этом деле мастер. На две головы выше меня, с длинным, цыгански-смуглым и все же странно старообразным лицом, в полушубке и островерхой бараньей шапке, медленный и по-взрослому деловитый в движениях, он выглядит рядом со мной дядей. Он рассудителен и скуп, как вся его зажиточная семья,

приехавшая откуда-то с Украины, но тем не менее подарил мне лыжи. Ему же купили новые. Ощувив под собой эти легкие деревянные лезвия, этот рассудительный и осторожный полуподросток-полудядя становится неузнаваемым: с гиком несется вниз по склону, поворотами взвихривая облака снега, к обрыву, резко падающему в реку, еще миг, и сорвется, покатится, сломав себе руки-ноги, но в этот миг-то он резко сворачивает и застывает над пропастью. В оцепеневшем, темном, клубящемся холодом полдне, в котором живые существа движутся, как сомнамбулы, вся страсть и сладкий страх катания с горы заключены в этом миге над пропастью. Вначале я тормозил и разворачивался в двадцати, десяти метрах от края обрыва, теперь же стараюсь перещеголять Игоря, уже и страха не испытываю, только все внутри леденеет, а после пылают щеки и чуть кружится голова, а в полукилометре выше по течению в узкой нашей кухне ни о чем не подозревающая бабушка топит печь, варит все ту же "балендру" и распевает песенку:

Дрейт зих а шолтикл ойф дер гас
унлерненкен эр горны т,
эр дрейт зих арум пыст ин паст
ун тут алсдинкс вус мэ торныт...¹⁸

Страсти на голодный желудок, вероятно, особенно несдержанны, озлобленны и жестоки. В классах собачий холод. Сидим в ватниках за двумя длинными столами, все девочки – за первым и на одной скамье, все мальчики – за вторым. На математике с Ефимом Абрамовичем Лабунским шутки плохи, и он, на вид такой болезненный, бледный, вялый, держит нас в жестокой узде; зато мы отыгрываемся на немецком, а на ботанике вообще впадаем в бешенство, уже после звонка визжим, прыгаем, деремся, в класс врывается изголодавшийся, очастый, в жалком пальто, несчастный в своей свирепости ботаник по кличке Семядоля, хватает первого попавшегося за воротник и ведет в угол, пока бежит за следующим, первый покидает угол и садится на место, в течение нескольких минут человек семь отведено в угол, а в результате все сидят, начинается урок, вдоль стола из рук в руки движется сделанный Семядолей гербарий, возвращается к нему весь изорванный, учитель впадает в ярость, сдавленно кричит, размахивает руками, теряет очки, что вызывает отчаянный хохот, падает скамья, все мальчишки лежат на полу в ряд и давятся от смеха.

После уроков не хочется идти домой: там ждет меня скучная работа – выбивать буквы в жести – трафареты для консервного завода; за жалкие копейки, отбивая себе пальцы, высекаю – "брутто", "нетто", "тара", а в доме нету никакого "нетто", одни тары-бары, пустота, темень, запах влажного угля. Иду шататься по городу. Сначала провожаю Жорку Бондаря, отец которого зам-предгорисполкома, дом их дышит сытостью и благополучием. Затем отправляюсь в любимые места: стараюсь держаться подальше от церкви, подолгу торчу у витрины аптеки, прикованный взглядом к изгибам клистирных трубок и реторт, к сверкающим на шкафчиках надписям "Героика" и "Венена" на латыни, и за этим грезятся мне все тайны алхимии, хотя за прилавком стоит такой домашний лысый еврей в очках, мамин знакомый Эммануил Фельдман.

Поворачиваюсь к аптеке спиной, лицом к городской "парадной" площади, которая слева упирается в церковную ограду, справа – в "трибуну", неказистое каменное сооружение, жалким остовом торчащее из-под снега.

Поднимаюсь на нее по двум-трем ступенькам, медленно озираю площадь: передо мной церковная колокольня, обсиженная гирляндами галок по всем краям. Срываюсь с трибуны, бегу в узкий переулок между аптекой и развалинами, меня выносит к приземистым хатам на

¹⁸ идиш:Вертится шалунишка на улице,выучить ничего не может,вертится впустуюи делает все, что делать

окраине бывшей Николаевской, ныне Коммунистической, за ними уже заброшенное захлавленное поле – до изгиба железнодорожного пути от Варницы к мосту, а за ним – до приземистых башен крепости: горы мусора, обломки машин, платформ, оглобель, ящиков, разбросанные по полю, облитые льдом, полузасыпанные снегом, торчащие из-под него подобно костям, опрокидываются на меня, как бы мгновенно приближенные кинокамерой, зрелищем давно отгремевшего, уже истлевшего побоища, заледеневшим безмолвием отбушевавшей ярости, страха и гибели.

Я вижу себя со стороны, маленького, тщедушного, закутанного в одежды, с полотняной сумкой книг и тетрадей, больше похожей на мешок, одиноко, как перст, торчащего на краю ледяного поля забвения, один на один с темным, низким, слабо шевелящим подбрюшьями облаков небом, крупно вросшей в землю замшелыми камнями крепостью, мощно и без раздумья швыряющим свое металлическое тело в пространство мостом.

Утлые протоптанные как бы озирающейся походкой тропинки разбегаются по полю. Выбираю крайнюю правую к реке, затем вдоль обрыва добираюсь до дома.

Эти шатания я про себя называю "переживанием пространств".

У меня уже есть места, которые, стоит лишь там оказаться, мгновенно вызывают стойкие воспоминания: перекресток улиц Лазо и Михайловской в любое время года встает солнечным полднем и внезапной болью в паху: с трудом добираюсь от врача домой, бабушка прикладывает мне мешочки с горячим песком; когда бы я ни оказался рядом с покосившимся домом, примыкающим к бывшей "синагоге мясников", ныне спортивному залу, передо мной встает живущая в этом доме длинная и тощая, как жердь, с белыми волосами, заплетенными в косу и обернутыми вокруг головы, с поджатым строго лицом, румынская коммунистка и старая дева, а попросту старуха Радосшевецкая, которая написала донос на отца моего друга Андрея: старику дали на всю катушку, двадцать пять, за то, что, отчаявшись найти флакон одеколona, он с еще не выветрившейся французской фривольностью сказал при ней: что за черт, во всех уголках бюсты Ленина и Сталина, а одеколona достать невозможно.

Проходя мимо дома, сложенного из прочного темно-серого камня, на углу Павловской, ныне Советской и Константиновской, я тут же вспоминаю, что этот дом принадлежал бабушкиной сестре тете Шлеме, муж которой дядя Янкель занимался винным промыслом: во дворе, дядя Янкель, занимался винным промыслом: во дворе стояли гигантские, выше кровли, бочки из дуба, до красноты пропитанного вином; бочки были пусты, подперты лесенками, на которых веселые мужики, перекликаясь, поколачивали по бочкам молотками, угарный винный запах тяжело висел над двором; говорили, если человек упадет внутрь бочки, тотчас умирает от спертых винных паров, бывали такие случаи; дядя Янкель, благообразный еврей в черной шляпе и лапсердаке, с черной бородой, прямыми прядями свисающей вокруг бледного лица, как обычно, сидел на внутренней веранде и попивал чай; за неделю до начала войны мы с мамой посетили этот дом: тетя Шлема лежала на кушетке, жаловалась на головную боль, наутро ее разбил паралич...

Но одно место меня просто тянет к себе: бывшая городская Аудитория¹⁹ самое впечатляющее архитектурное сооружение в нашем городе, – высокий как бы взлетающий в небо зал с огромными арочными окнами, разрушенный, открытый всем ветрам, заваленный хламом, пометом, стрелянными гильзами, эхом отзывается на каждый мой шаг. Оружие галки мечутся под потолком, напоминая мне заброшенную церковь на дальнем кладбище в глубинах России, где лежит мой отец. В Аудитории я могу шататься часами, ковыряясь в мусоре, или, застыв у стены, прислушиваться к завыванию ветра. Это место вообще привлекает мальчишек. Насобирают патронов, из нескольких высыпят порох, подожгут: ожидают фей-

¹⁹ Место общественных собраний и концертов.

ерверка. Однажды порох все тлел, не загорался. Сунулся было Нэдик Старосоцкий, тут как полыхнет, все лицо ему обожгло.

Между тем пришла весна, черты наших худосочных лиц и вовсе заострились, глаза блестели, страсти рвались наружу, на переменах мы просто впадали в буйство, швыряли к потолку сумки, шапки, галоши, а тут еще началась "карбидная эпидемия": в чернильницы незаметно вкладывались кусочки карбида, посреди урока чернила начинали извергаться пеной из бутылочек, ужасная вонь гнала всех из класса. Директор школы Семидоцкий пытался вести с нами воспитательную беседу: "У вас что, буйное помешательство, посмотрите на себя, рожи все в черниле... А кто это у вас галошами по потолку ходил?.."

Самые аккуратные в классе ученики Гриша Спориш и Федя Кирпичников совсем извелись: кто-то исподтишка вынимал из их ранцев чистенькие тетрадки и книги, мял их и пачкал чернилами. Кривоногий по-бычьему неуклюжий тугодум Мося Менчик похвалялся новой кепочкой – "восьмиклинкой": стащили на уроке и разорвали по всем клиньям. Но больше всех доставалось Люсику Айзиковичу, который давно перерос рамки класса, став школьным "козлом отпущения"; миф о его вездесущности давно превзошел его самого и вовсе не нуждался в его присутствии: он мог вообще болеть, не ходить в школу, но если в спортзале вышибли дверь, в уборной подложили карбид и взрывом вынесло наружу почти всех сидящих в кабинках, виноват был Айзикович; лопоухий, с вечно изумленным выражением лица, на котором пылало огромное родимое пятно, он шел по коридору, мимо него пролетал мяч, раздавался треск разбитого стекла на лестничной площадке, и поднимающийся снизу завхоз Дедушев с огромной выдающейся вперед лысой головой и волосатыми руками уголовника, почему-то всегда сжимающими рукоятку топора (он вечно что-то чинил), хватал Айзиковича и вел к директору. Не помогали никакие объяснения. Ослабевшие от хохота и голода мы шли гурьбой в столовую (весной нам несколько недель выдавали талоны на обед). Классная сердцеедка Люда Бережная с утиным веснушчатым носом и голубыми глазами, за которой увивались сразу два Бори Школьника – Борис Львович и Борис Маркович, ходила между столиками, собирая остатки пищи для своей собачки, и два Бори, свирепо поглядывая друг на друга, нежно ей улыбались.

Весенний дух кружил голову, гнал в сомнительные места, и мы той же гурьбой катились на базар, где по всем углам валялись пьяные; безногие калеки на деревянных тележках, увешанные медалями, стуча жестяными банками для милостыни, встречали тебя песнями и всевозможными титулами, и провожали мотом, если ты им не швырнул пару копеек, какие-то ловкие красномордые типы манипулировали картами, собирая вокруг себя толпы: "Голова-ноги, голова-ноги, клади пять рубликов, голова – деньги твои, ноги – деньги мои, раз – и на севере Кавказ"; разинув рты, мы следили за ловко снующими руками: манипулятор показывал играющему карту, на которой были изображены голова и ноги, переворачивал ее, вертел, пел, каламбурил, после чего играющий должен был указать, где голова. Мы ни разу не видели, чтоб кто-либо выиграл. Внезапно, без криков, на базаре начиналась паника: "Милиция". Все разбегались, калеки и фрайеры исчезали в каких-то щелях, мы с гиком неслись, размахивая сумками как бы в доказательство, что мы школьники и случайно здесь оказались.

Каждую весну на поле между нашим домом и пристанью, рядом с ремонтными мастерскими, располагались табором цыгане. Неизвестно откуда возникали и неизвестно куда исчезали. Просто однажды ты просыпался от шума, криков, лязга: мужчины разводили костры, лудили кастрюли, казаны, всю металлическую посуду, которую к ним таскали со всего города, женщины в цветастых платьях с монистами приставали к прохожим, требуя "ручку – погадать", дети оравой бегали за каждым проходящим, прося "копеечку"; цыганки распространяли вокруг себя зыбкую атмосферу тревоги, красоты и ненадежности; у детишек, часто совсем голых или едва прикрытых, сквозь застарелую грязь проглядывали удивительные по красоте и одухотворенности мордашки. Как-то мимо табора проходил воен-

ный, к нему пристали два таких "смуглых амурчика", он и дал им денег, через мгновение из табора вынесло сотню детишек, они чуть не опрокинули доброго дядю, и он несмотря на чины и ордена, данные несомненно за храбрость, позорно бежал.

Ночью, вызывая слезы на глазах, начинали звенеть гитары, низкие голоса цыганок будили тоску, улетали на пьянящем весеннем ветру вдаль над Днестром, пахло влажной гнилью прошлогодних листьев, бабушка рассказывала всяческие небылицы о цыганах, которые крадут детей и превращают их в "коменданчиков", так на ее языке обозначались "комедианты". Эти цыганские струны в ночи, думаю, и пробудили во мне желание во что бы то ни стало научиться играть на гитаре. Но путь к ней был долог и странен.

Сколько я себя помню, меня преследовал музыкальный гул. Быть может, и он был досознательным. Быть может, зародыш с пробуждением, задолго до рождения, получает не только мир сновидений, но и склонность души принимать мир мягко, мечтательно, музыкально, таким, как он есть, жажду слиться с его многообразием, или склонность к переделыванию его, к насилию. Вероятно, впервые я ощутил это почти "ножевое" различие в пять лет, увидев первый самолет в небе, его неживой гнусаво-металлический звук вызвал во мне страх, желание заткнуть уши, бежать куда глаза глядят, забиться в любую щель; я даже не знал, что он может нести гибель, но в сравнении с гибким полетом птицы или порханием бабочки, которые несли на крыльях, как легкую пыльцу, этот музыкальный гул, металлический безобразно-тупой да еще какой-то фасетчатый жук просто рвал в клочья ткань музыки, которая шла от любой вещи и существа. Я не умел это объяснить и потому просто кричал маме, пытающейся меня успокоить: "Я его не боюсь". Но она считала, что я просто храбрюсь.

Ранне-апрельская ночь, насыщенная звучанием цыганских гитар, таинственно прорастала любым кустом, тенью, закутком, тугие прутья веток, еще не брызнувшие листвой и цветами, казалось, вот-вот лопнут от переизбытка натекшей в них музыки, и стоит лишь срезать прут, проткнуть в нем несколько отверстий, как в свирели, и накопившееся звучание хлынет наружу. Согнутая в дугу металлическая линейка певуче разгибалась, бумага, всунутая между зубьев гребенки, превращала ее почти в губную гармонику.

"Так у меня есть настоящая губная гармошка, – сказал мне Андрей, – валяется где-то, по-моему испорченная".

Эту фразу, случайно оброненную, и можно считать началом моей музыкальной карьеры. Забыв про тряпичный мяч и шляния по городу, действуя на нервы не только окружающим, но и самому себе, с упорством каторжника я извлекал звуки из этого подобия гармошки. Не прошло и недели, как она заиграла. Меня силой потащили в дом пионеров, к Анатолию Федоровичу, который вел кружок по аккордеону и струнным инструментам. Он почему-то посоветовал учиться на скрипке. Флюиды музыки, распространяемые мной, очевидно, дурно действовали на моих одноклассников: так тишайший школьник и лучший математик в классе Мота Гитерман, вечно бормочущий под нос и хитро улыбающийся после очередной тайной проделки, вроде бы никогда не испытывавший тяги к музыке, вдруг пристал к своему отцу, глубоко религиозному человеку, который все свободное время сидел обложившись горами древнееврейских книг, затащил его в музыкальный магазин и заставил купить ему, Моте, балалайку. Этого я уже выдержать не мог. Я довел маму до белого каления, я требовал тоже балалайку. Мама кое-как наскребла нужную сумму, и мы отправились в магазин. Балалаек не оказалось, были одни мандолины. Купили мандолину, пришли домой, только я прикоснулся к ней, лопнула одна струна. По-моему, и в младенчестве я так не плакал, несмотря на увещевания мамы, что струну можно сменить. Я и сам понимал, что можно, но лопнувшую струну воспринимал как разрушенное первородство обретенного инструмента. Вернулись в магазин, сменили струну. До поздней ночи, когда мама и бабушка уже спали, я сидел на скамеечке у плиты в кухне и, как говорили соседи Морозовы, "дрынгал", но через

месяц у меня уже накопился порядочный репертуар, я опять отправился к Анатолию Федоровичу:

– Как ты, брат, ухитришься все это играть... двумя пальцами? Невероятно.

Так я попал в оркестр, через полгода уже играл соло "Турецкий марш" Моцарта и концерт для домры с оркестром Будашкина. И лишь тогда я добрался до гитары.

Мы выступали на олимпиадах: хоры пели, оркестры играли, танцоры плясали, но весь этот избыточный треск и шум я готов был в любой миг сменять на несколько тактов из Сороковой симфонии Моцарта, я знал ее наизусть. В любой миг и в любом месте, где возникало безмолвье, всегда так естественно и странно слитое с печалью, я жил под сенью Сороковой: ее волны так спасительно легко и отрешенно несли меня поверх пропастей, в которых скреблась и шевелилась изо дня в день обыденная жизнь, несли к тем нескольким мажорным аккордам, в этом и была вся тайна, и в их почти гибельном и в то же время сладостном сочетании с пронзительной болью ощущалась вся мимолетность жизни, которая для меня только начиналась; эта безотчетно глубокая меланхолия, эта пронизанная светом тоска в мажорном звучании освещала каким-то райски-поту сторонним сиянием все, что меня окружало, делая это окружение еще более обыденным и в то же время более дорогим.

Страсть таилась в порах весны, страсть пахла тлением и горечью влажной древесины, дымилась запахом сирени над плитами могил, соединялась с гибелью; шепоток гибели, казалось, зарождался из ничего в парах этого серого промозгло-весеннего дня с редко проглядывающим солнцем, неверной желтизной отражающимся в лужах за классными окнами, но вот он загулял по коридору, ворвался в учительскую, пошел по рядам, я даже не помню, как это произошло, но через считанные минуты мы всей школой бежали по улицам, к окраине, по полю, к селу Гиска, из переулков толпой вынесло и другие школы, слухи реяли над толпой, все были возбуждены, испуганы, тяжело дышали от невероятного любопытства и тяжелого бега с комьями грязи на подошвах. Начальная школа села Гиска была окружена милицией, одна из стен школы рухнула, обнажив такой осиротелый, с щербатыми от осколков стенами класс, передние парты были расщеплены, покрыты пятнами крови. Где-то кричали, плакали, говорили без умолку. Известный в городе спортсмен, преподаватель физкультуры Татаренко, который был влюблен в учительницу этой школы, но не встречал взаимности, внезапно вошел к ней в класс на уроке, зажав гранату в руке, что-то прокричал, обнял ее и взорвался вместе с нею, рухнула стена, погибло несколько детей, много раненых...

Возвращались как зачумленные, перед моими глазами еще долго стояло зрелище массового бега людей, увязающих в болоте весеннего поля.

Допоздна мы шатались с Андреем по закоулкам старого парка: он был пуст, кружил голову кладбищенским запахом тления и сиреневой свежестью, на пятачке посреди парка каменел на постаменте Сталин во весь рост, а в боковой аллее одиноко сидел на скамье белый, как лунь, старик Хамаритов, который учил еще мою маму в начально-приходской школе. Над нашими головами высоко и кругло стоял серебряно-восковой месяц и подобен он был светящемуся отверстию в иной занебесный мир, отверстию глубокого темного колодца, на дне которого мы обретались вместе с парком, кладбищем справа за ним и стадионом – слева. Ворота стадиона почему-то были открыты, и его огромная чаша пугающе светилась под лунной безмолвием потухшего кратера.

В тот год страсть к футбольным баталиям лихорадила всех мальчишек: с необыкновенным проворством мы пробирались сквозь любую щель, через колючую проволоку на трибуны стадиона, где и вправду бушевали страсти как в настоящем вулкане. Встреча с венгерскими футболистами сотрясала весь город, рев болельщиков доносился до самых дальних его щелей. Нашими кумирами были нападающие Чепойда и Туржинский по кличке Брынза, вратарь, грек Делибалт. Накал во время матча с венграми достиг такой силы, что в разгар игры внезапно на поле выскочил на мотоцикле в стельку пьяный сын нашего препода-

давателя физики Владимира Александровича Матюшенского Борис Владимирович, сделал несколько зигзагов и упал, его тут же окружили милиционеры и уволокли вместе с мотоциклом. Помню, что на этот матч я спокойно пролез под колючей проволокой, поднялся на бровку стадиона, сел и внезапно обомлел, рядом со мной стоял милиционер: он был так увлечен тем, что творится на поле, что не заметил, как я прошел под самым его носом.

Мы были вечно голодными послевоенными подростками с синеватыми от авитаминоза лицами, и половое наше созревание было замедленным и поздним, тем не менее, разговоры наши вертелись, в основном, вокруг этой запретной темы, и многие свою робость и боязнь подойти к девушке скрывали развязностью жестов, покуриванием сигарок "в кулак" и сплевыванием сквозь зубы. В ту весну кроме нудного до оскомины выбивания букв для консервного завода я давал уроки математики двум девочкам на класс младше меня. Фрида Ицкович жила недалеко от нас и старшую ее сестру Зою, взбалмошную и красивую, страдающую астмой, напропалую гулявшую с мужиками, бабушка моя называла не иначе, как "диныкейз"²⁰, правда это не мешало ей дружить с их матерью, вдовой, которая вечно жаловалась на своих дочек. Фрида же была замкнутой девочкой, тонкие черты ее лица были строги, брови нежно черны, она была неглупа, но математика ей не давалась: подолгу я вдалбливал ей простейшие премудрости, пока она вдруг, не выдержав, срывалась из-за стола, выбегала на улицу, сломя голову, я же мигом и с удовольствием "потеряв учительскую честь", бросался за ней, догонял в переулке, крепко обнимал, она вырывалась, оба смеялись, успокаивались, мирно возвращались, опять принимаясь за нудное дело.

Вторая ученица, Мирочка Штипельман, жила в большом еврейском дворе на Николаевской, напротив дома сестры моего отца, тети Розы, была смешливой, смазливой, непреходимо глупой девчонкой. Она слушала мои объяснения, широко раскрыв глаза, хлопая ресницами, не отрывая от меня взгляда, время от времени заливаясь смехом, и вообще мысли ее были совсем об ином и она кокетничала со мной напропалую; гоняться за ней по двору было опасно, все бы увидели, так мы устраивали догонялки в доме, переворачивали стулья, пока оба не валились на диван, давясь от смеха.

Мгновенный оттиск в памяти, живший во мне еще с прошлого лета, набирал новые силы в эти апрельские дни: идя как-то по левому берегу в сторону пляжа, я огибал стоящий в стороне автобус, который привез, вероятно, из какого-то поселка людей на пикник, и вдруг увидел сквозь стекла совершенно голую молодую женщину: она переодевалась. Словно бы меня кто-то хлестнул по лицу, груди, спине.

Ожог этот ослабел лишь с зимней стужей.

Закончив урок с Мирочкой, я шел в ближайший от их дома новый парк с памятником Ленина напротив кинотеатра. Цвела сирень, сладко пахли липы, мальчишки из школы стайками шлелись по аллеям, в почерневшей от снега и дождя беседке-ротонде военные музыканты выдували из медных труб вальс "В городском саду играет духовой оркестр", на скамейках сидели солдатики в обнимку с деревенскими молодками в цветастых платках и кацавейках, и в памяти вертелись строки Артюра Рембо, книжку стихов которого без начала и конца я нашел где-то, таскал с собой повсюду, и тлетворный дурманящий воздух весны сливался со строками, неизвестно кем переведенными с французского: "...Вдыхая запах роз, любовное питье в тромбонном воспоеет веселый голоштанник, и с розами в зубах рассеявшись, солдатъе ласкает детвору, чтобы задобрить нянек...". (Только в начале семидесятых я нашел перевод этого стихотворения "На музыке" Бенедиктом Лифшицем, но он был иным, не совпадал с тем, запомнившимся мне на всю жизнь.)

На необсохшей площадке теннисного корта, обтянутого высокой металлической сеткой, разорванной в одном углу, толпились табуном парни, из табуна торчала нескладно-

²⁰ идиш: "Эта потаскуха".

огромная, сутулящаяся от высокого роста фигура Пети Бачу с непропорционально большой головой, на затылке которой едва держалась куцая кепочка с пуговкой. Что-то происходило внутри толпы. Петя Бачу, скаля зубы в улыбке, отходил спиной к сетке ограды, за ним, как в замедленной съемке, буквально текло какое-то незнакомое существо, оплывшее головой, всем телом, невысокое, в брезентовой робе грязно-лягушачьего цвета, стриженное под машинку. Вдруг скалящаяся челюсть Пети Бачу испуганно отвисла, с ловкостью, невероятной для его роста, он проскочил в разрыв сетки, за ним – недомерок в робе, за ними – весь табун. Петя выскочил на центральную улицу. Не прошло и нескольких секунд, как вся улица бежала. Милиционер на перекрестке испуганно дул в свисток, одиноко замершей фигурой лишь подчеркивая огромную массу бегущих неизвестно куда, зачем, не понимающих вообще, что происходит. Грузный топот и тяжкое дыхание обдавали со всех сторон. Музыканты бежали, сверкая трубами, невысокий толстяк, пыхтя, волок на спине барабан. Непонятно было, как улица, на которой минуту назад гуляли редкие группы прохожих, наполнилась таким количеством людей, из каких щелей нанесло эти хари, чьи ноздри раздувало звериное любопытство и жажда куда-то бежать, бить, кромсать. На улице Калинина толпу понесло направо, затем опять направо – во двор местной гостиницы, там все забурило, из окон какие-то пьяные морды орали: "Бей его, добивай, гада". Когда мы, мальчишки, вскарабкались на ограду, несколько милиционеров пытались отбить от толпы лежащее на земле, подобно медузе грязно-лягушачьего цвета, тело недомерка, его еще кто-то поддевал ногой, разряжая всю ненависть, которая звериным зарядом накапливается в любой бегущей массе. Разноречивые слухи витали над разгоряченной толпой: недомерок был уркой, недавно выпущен из тюрьмы, и Петя Бачу решил с ним позабавиться, стянул с него кепочку, поддразнивал; когда между пальцев недомерка сверкнуло лезвие бритвы, великан Бачу ошалеет от страха. Вид грома, дающего стрекача от малявки распалил дремлющие инстинкты весенней полусонной толпы. Оплывшее тело зашвырнули в милицейский воронок.

Через три дня я встретил урку: он преспокойно стоял у лотка и ел мороженое.

Был Песах. Дни стояли высокие. Запахи прогретой, но еще влажной земли, набухших соками стволов и ветвей, клейких в своем младенческом сиянии под солнцем новых листьев, истекающих отходящими водами почек перед рождением цветка – были дурманяще чисты. Груды ослепительно белых облаков ощущались ворохом стиранного и накрахмаленного белья, пахнущего арбузной свежестью. Бабушка посылала меня за мацой. Я посетил какой-то сумрачный дом, из трубы которого валил деготно-черный дым, в темном подвале гудели печи, огонь высвечивал бородатые, горбоносые, сухо-багровые, как на картинах Рембрандта, лица стариков, их сильные старчески скрученные руки, ворочающие какими-то широкими лопатами. Эти же руки дали мне сверток мацы. Вечером бабушка устроила некое подобие пасхального седера, и видение Синая маячило передо мной грудой полдневных ослепительно белых облаков, которые на следующее утро тянулись над нами, когда мой одноклассник, хохол Яшка Рассолов по кличке Янкель повез меня на раме велосипеда в плавни, на усадьбу к своему деду. Янкель был крупным и плотным малым с младенчески гладким лицом, ежесекундно заливающимся румянцем от любого чувства, будь то стыд, злость, удивление. Наш учитель физики, куцый, желчный, с вечно сизыми несмотря на тщательное бритье щеками, говорящий в нос из-за постоянного насморка, невзлюбивший меня с первого дня, Борис Гаврилович Кос, называл Янкеля не иначе, как "румяный царь природы". Мы тряслись по кочкам и выбоинам шоссе в сторону Кицканского леса, молочные облака текли над нами поверх деревьев, словно бы окунутых в утреннюю свежесть и тишину.

Край усадьбы, пойменные земли, на которых Янкелев дед обычно сажал помидоры, были залиты высоко поднявшимися водами Днестра, купы камышей и кустов стояли по горло в быстро текущей влаге, гнулись, оставляя борозды на поверхности идущих мощным током грязно-шоколадных паводковых вод, мы сидели у самого их края в насыщенной

брызгами и влажным покоем тишине и швыряли плоские голыши так, чтобы они прыгали по водам. Кудяхтанье кур, хрюканье свиньи, перекликающиеся по огородам человеческие голоса казались далекими и ирреальными, как сквозь вату сна. Мы ели с Янкелем мед, принесенный дедом прямо из ульев, запивали парным молоком, и над нами витал запах горячего покрывающегося румянцем в печи теста: Янкелева бабка пекла куличи и красила яйца к христианской Пасхе, идущей вслед за нашим еврейским Песахом.

Блаженно-полусонные, мы шлялись вдоль огородных грядок, бегали по лесу, кричали вдаль, ловя эхо, и я был рад, что Янкель не прихватил с собой мандолину: по слоновьей его медлительности музыкальная эпидемия в классе только недавно до него добралась, Янкель приобрел мандолину, я научил его нескольким незамысловатым мелодиям, и он часами пыхтел над инструментом, ежесекундно покрываясь румянцем от наплыва чувств.

Облака, молоко и мед грядой тянулись сквозь весь этот день, и к апрельскому закату, сопровождавшему нас на обратном пути, прибавился бледный, едва проступивший на светлом небе месяц.

Пустынный дом был прибран и тих. Бабушка и мама ушли в синагогу, а потом к знакомым. Я был один, я поглядывал в окно на низко повисшую, словно бы звенящую серебром пасхальную посудину месяца, зажег настольную лампочку, начал читать "Портрет" Гоголя.

Пришли мама с бабушкой, укладывались спать, проверяли заперта ли наружная дверь на металлический крюк, уже бабушка по привычке, повторяющейся каждую ночь, несколько раз оклинула маму: "Зинэ, Зинэ... Ду ост фармахт ди тиер?.. И раздраженный голос мамы: "Фармахт... Шлоф шын, шлоф..."²¹ Уже где-то, за домом Кучеренко, в Глинищах, прокричал петух. Я все читал "Портрет". Обжигающий текст поглотил меня, я никогда еще так поздно не бодрствовал, я словно бы обернулся доселе незнакомой мне ночной птицей и залетел в неведомый мне часовой пояс, нарушился привычный ход времени, какой-то иной его счет и ритм нес меня вместе с нашим утлым домиком в тревожно-серебряном половодье яркой луны. Не привыкшие к бессоннице глаза подростка лихорадочно и невидяще вглядывались в это мглистое безмолвие, откуда облаками накатывали видения, тревожили и влекли отроческую душу, никогда еще перед ней не отверзались такие глубины ощущений и мыслей: и призрачный Петербург вливался в эти видения сквозь проломы Коломны, живописуемой Гоголем, мгновенными оттисками страшных кошмаров осажденного Ленинграда, описываемых нашими знакомыми, пережившими блокаду, смешиваясь ледяной гибелью с огненными языками Иерусалима, которые выбрасывали печи, пытаясь поджечь бороды сухо-багровых стариков, пекущих мацу.

²¹ идиш: "Зина, ты закрыла дверь?" – "Закрыла... спи уже, спи..."

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.